Кирилл Левин

Записки из плена

ГЖС565
Л 346

1930 г.

„Федерация"

ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИЯ
Ф

ГЖ 565
Л 346

КИРИЛЛ ЛЕВИН

ЗАПИСКИ ИЗ ПЛЕНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ФЕДЕРАЦИЯ»
МОСКВА — 1930

К.
П
1984
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008
ГЖ 565 Р
Л 346

Обложка работы
худ. А. Е. Лопухина

„Мосполиграф"
14 типография, Варгунихина гора, 8.
Главлит № А 45 163
Зак. тип. № 2846.
Тираж 5 000 экз.
Фесп № 285.

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ЛЕНИНА
1130 98602

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
От фронта до лагеря	7
Лагерь в Миловицах	41
Итальянцы	106
Приезд княгини	118
Госпиталь	126
Восемьдесят пятый барак	177
Тиф	194
Лагерь в Эгере	221
Февраль — октябрь 1917 г.	242
Домой	268

Брату—Сергею

ОТ ФРОНТА ДО ЛАГЕРЯ

Теперь, вспоминая эти дни, я недоверчиво думаю: в самом ли деле все это было? В самом ли деле добрый и всегда грустный Любучек, который потом в плену приносил мне под полой, чтобы не видел фельдфебель, селями — жирную чешскую колбасу и круглые булочки — в самом ли деле он со встопорщенными злыми усами (какое добродушное выражение они придавали ему потом!) и почерневшим лицом бросался на меня со штыком?

А между тем все это было. Выпивши, Любучек приходил ко мне, близко придвигал к моему лицу свое, красное и припухшее от пива, и испуганно спрашивал:

— Послухай, Левинку, могло то быть, же я байонетом (штыком) хтел те ржезать, яко свине?

С тех пор как его, раненного в том же бою, в котором я попал в плен, отправили в тыл и там за неспособностью к фронту назначили санитаром в лагерь русских военнопленных, прошло около года, и теперь лучшими его друзьями были мы — русские солдаты.

Бои отошли в прошлое, но тяжелая лапа войны не переставала давить нас. Наш лагерь со всех сторон был охвачен колючей проволокой, у ворот стояли австрийские часовые и в черных, грязных бараках люди жили на нарах, построенных в два яруса, как мелкий скот в товарных вагонах.

Но сюда мы попали не сразу.

До этого мы проделали длительные и суровые скитания по прифронтовым этапам и деревням, ночевали в сараях, брошенных каменоломнях и разрушенных снарядами домах.

И ночью, на привалах, лежа на земле, закутанный в чужую шинель, подобранную где-то на дороге, я метался, не мог уснуть. Мучительные видения не оставляли меня. Шрапнели рвались надо мною, кто-то стонал, кто-то полз, плача и волоча раздробленную ногу, и стреляя шли люди с сумасшедшими лицами. Иногда какое-то противоестественное, непередаваемое ощущение овладевало мною, какая-то нравственная тошнота подступала к горлу, и я с отвращением представлял себе последний бой, со всеми его деталями.

Бой происходил в сосновом перелеске, которыми так богата Галиция. Наши цепи шли через перелесок, по ту сторону которого находились австрийцы, пули не грозно цокали о медные сосновые стволы, и солдаты, пробираясь сквозь колючие ежевики, на ходу срывали ягоды. Их губы казались вспухшими от черного ягодного сока.

На опушке нас встретил бригадный,— жирный, одут-

ловатый старик, с голубыми елейными глазами, и, неловко махнув рукой, скороговоркой прокричал:

— С богом, братцы, с господом, серенькие!

Он сейчас же уехал, и цепи вышли на вспаханное машинами поле. Итти было очень тяжело. Австрийские пули летели свистящими стаями, шрапнели рвались над нашими головами, и за каждым бело-розовым дымком разрыва во все стороны брызгали комья развороченной пулями земли.

— Вперед, что ли,— закричал Колесников, сверхурочный унтер-офицер,— на канаву держи!

И он бросился вперед, опустив голову и зажмурившись, как бросаются в воду.

Канава шла шагов за двести впереди, вдоль дороги, и вся цепь, бестолково скучиваясь, бросилась вперед. Люди не прятали друг от друга страха, как не прячут обыденных домашних поступков. Бежали вперегонку, низко пригибаясь к земле, и Колесников, добежав первым, как-то уж слишком быстро ткнулся в насыпь.

Пули летели все гуще, и визг их и цоканье, когда они ударялись обо что-нибудь, нестерпимо стояли в ушах. У самой канавы меня толкнуло в ногу, я подпрыгнул, мелко и часто переступил и лег на живот. Австрийцы выскочили неожиданно. Это были мадьяры, смуглые, чернобородые и белозубые. Они были опьянены атакой, хрипло ругались и направляли на нас широкие, как ножи, штыки. Я вскочил, мадьяр яростно налезал на меня со штыком, я увертывался и вдруг сообразил, что винтовка была еще у меня в руках. Я бросил ее, и

мадьяр, опустив штык, стал срывать с меня пояс с патронными подсумками. Из-за пазухи покатились огурцы, купленные мною на последнем привале. Мадьяр засмеялся, лицо его пошло добрыми морщинами, и он рукой показал мне, чтобы я лег в канаву. Там было много русских. На боку, рука под щекой, лежал Колесников. У него было равнодушное, сонное лицо. Он был убит в тот момент, когда подбегал к канаве.

Бой уходил дальше. Австрийцы наступали. Из-за пригорка выехал верхом австрийский генерал. Он был в очках, у него было благодушное лицо детского врача, и, благословляюще подымая руку, он негромко говорил:

— Ordnung, nur Ordnung [1].

Австрийцы, охраняющие нас, сидели на корточках, держа винтовки между колен, и все мы прислушивались к крикам, свисткам и выстрелам, доносившимся к нам оттуда, где шел бой.

Уже темнело, и залпы вспыхивали целыми табунами бронзовых огоньков, разрывы шрапнелей блистали ослепительно и красиво, и мощный гул криков и стонов, казалось, приветствовал их страшную красоту.

По полю ковыляли и ползли люди с землистыми лицами, с потухшими глазами. Они волочили перебитые ноги, поддерживали здоровыми руками искалеченные, некоторые подпирались винтовками, как костылями.

Среди них я увидел Ермилова, черноглазого, крепкого паренька нашей роты, с которым я был дружен.

---

[1] Порядок, только порядок.

Его вели под руки двое австрийцев, а он оседал и дергался на каждом шагу, вез ногами и тихо вскрикивал:

— Осторожнее, милые, ой, легче идите.

Его положили в канаву. Он не узнавал нас, у него побелели губы и заострился нос, ноги лежали, как чужие, и только правая рука собиралась в горсть и опять разжималась. Я снял с него пояс, поднял горячую, потную рубаху. Крови не было, и только на животе, пониже пупка, синела маленькая, по виду невинная дырочка, похожая на раздавленную вишню. Ермилов попросил напиться и, напившись, шумно выдохнул и вдруг нелепо захихикал. Он хихикал, а глаза у него были мертвые и затягивались слюдой.

— Кончается,— сурово сказал Сушков, солдат из запасных, земляк Ермилова.— Охотника какого убили, первый у нас на всю волость охотник был.

Он встал и перекрестился. Австриец поднял винтовку, крича ему, чтобы он лег. Сушков не понял, и Алымов, немолодой уже, бородатый солдат схватил его за ноги и повалил.

— Пес ты,— злобно и почти плача прокричал он,— встал, колокольня, дразни их, ведь всех убить могут.

Австрийский офицер посмотрел в бинокль в сторону боя и подал команду. Нас повели. Ермилов лежал неподвижно. Грудь его слабо подымалась, и правая рука все тише, все медленнее собиралась в горсть и опять разжималась

Австрийцы торопили, шли почти бегом.

Мы проходили мимо солдат, возвращающихся с боя. У них были потные осунувшиеся лица и воспаленные глаза, одежда их была в грязи и пыли, и рыжие ранцы мотались за их усталыми плечами. Было похоже, что это рабочие идут с утомительной работы.

Впереди виднелась усадьба, у ворот был колодец с фигурой католического святого, и у колодца столпились сотни австрийцев. Охваченные нестерпимой опустошающей жаждой они не могли долго ждать, качали воду в деревянный водоем для скота и пили прямо оттуда, не отрываясь по несколько минут. Некоторые из них глядели на нас с тяжелым удивлением, точно не могли понять, как это русские, которых они только что убивали, мирно стояли возле них. Они неохотно пропустили нас к колодцу.

Плотный австриец с хорошими серыми глазами подошел к нам. Он дружелюбно протянул нам руку, с которой война еще не стерла в'евшуюся в кожу жирную машинную грязь, и сказал, что он машиностроительный рабочий из Кракова. Он говорил по-украински, и мы свободно понимали его. Среди нас был один сормовец, и австриец обрадованно сжал его руку. Они долго говорили между собой, и, уходя, австриец поцеловал его и отдал ему свой табак.

Ночь провели в огромной пустой комнате, видимо бывшей столовой, судя по камину и вделанному в стену буфету. Нас положили на голом полу, и у дверей сонно стали австрийские часовые.

Выстрелы слышались всю ночь, через открытую дверь было видно, как торопливо пробегали офицеры в помещавшийся рядом штаб, чей-то властный голос, грассируя, ругал кого-то, а на рассвете послышалась орудийная стрельба, шум далекого боя, и в усадьбе началась тревога.

Нас подняли и вывели на двор. Воздух был синий, молочный. Было холодно. Со двора виднелось поле, еще подернутое утренним туманом. Там шел бой. Австрийцы отступали. Они выходили из тумана и, отстреливаясь, приближались к усадьбе. Во двор на горячей лошади галопом прискакал офицер. Он бросил лошадь (ее подхватил солдат) и побежал в штаб. Через минуту он выбежал обратно и вскочил в седло. Русская шрапнель разорвалась над двором, с деревьев посыпались сбитые пулями листья. Пленные бросились в сторону. Альмов крестился, стуча зубами.

— От своих, от русских пропадешь, — сказал он, — увели бы нас куда подальше.

Австрийский фельдфебель спокойно вышел из штаба. Он в бинокль поглядел на бой и подал команду. Нас повели через сад, великолепный, огромный сад, с розоватыми мраморными статуями, спрятанными в зелени, с клумбами, беседками и бассейнами. Золотые рыбки еще плавали в грязной зеленой воде. Мы вышли к забору, перелезли через него и пошли полем. Дорога подымалась в гору, за горой расстилался широкий скошенный луг. На лугу стоял в несколько рядов австрийский обоз. Могучие широкозадые лошади были запряжены

в массивные, обитые железом телеги; но обозники сидели на земле и разговаривали, как будто бой не был в двух верстах от них, и все было в порядке. Я вспомнил наши хаотичные обозы, готовые в панике бежать от первого выстрела, составленные из плохих, разнобойных повозок, запряженных малосильными крестьянскими лошадьми, и сравнение было не в нашу пользу.

Мы проходили рощи, хутора, шли полями и пыльными дорогами и только к полудню сделали привал в каком-то селе. На большом, поросшем травой церковном дворе в навозе и грязи теснились русские пленные. Их было тут очень много — целые сотни. Местные крестьяне и австрийские солдаты сновали среди них. Пленные продавали шинели, сапоги и разное барахло. Шел слух, что все хорошее будут отбирать, и они торопились выгоднее сбыть свои вещи.

Высокий мрачный австриец долго менял тяжелые покоробившиеся буцы на русские сапоги. Мена не состоялась. Австриец скорбно глянул на высокие голенища желанных сапог и махнул рукой.

— Тебе, русский, добро, — с досадой и грустью сказал он.

— Ну, ну, — ответил пленный, очевидно, опасаясь австрийца, — сапоги-то без подметок.

Австриец усмехнулся.

— Сапоги — нет, — как бы про себя промолвил он, — ты в мир идешь, мы на войну. Плохо есть.

Так думали все австрийские солдаты — чешские, украинские, венгерские и немецкие крестьяне и рабочие.

Они завидовали нам, пленным, так как война для нас уже кончилась, а они шли на фронт.

Им не хотелось воевать за монархию Габсбургов. Они шли по принуждению, не любили и боялись своих офицеров и не верили им. И когда они знали, что никто их не слышит, они рассказывали нам о тяжелой походной жизни, о своих семьях, голодающих в тылу, о реквизициях скота и хлеба в деревнях и о том, что им совершенно незачем было итти на войну.

Вечером нас погнали дальше. Ночевали мы в Раве-Русской, большом и грязном галицийском городке, где жили евреи, украинцы и поляки, и церковь и синагога стояли на одной улице, отделенные двумя домами и зловонным пустырем. Здесь, очевидно, был сборный пункт для пленных со всего фронта. Все дворы и площади городка, его окрестности были забиты русскими. Их шумные таборы и становища тянулись на несколько верст, и эти люди, только что вырванные из боев, производили странное, сумбурное впечатление. Они были довольны. Смерть больше не грозила им. В плену во всяком случае было безопасно, и они не без удовольствия поглядывали на австрийских часовых, которых они теперь могли не бояться.

Они были голодны. Войну отработали, как большую работу, и усталые и успокоенные думали об еде. Кожаные пояса, погоны, кокарды с фуражек, военные значки и медали обменивались ими на хлеб. Между ними уже

шныряли какие-то неизвестные люди в штатском и меняли русские деньги на австрийские. Пленные с любопытством расспрашивали их о жизни новой и чуждой им страны, о городах, о крестьянах, о здешних обычаях, о ценах на хлеб.

Среди штатских выделялся короткий брюхатый человечек с маленькими глазами, сидевшими глубоко, как тюремные окошечки в толстых стенах. Он подходил к пленным в упор, обдавая запахом сырого мяса и пива, подмигивал и ловко шевелил короткими пальцами, толстым наигрывая на указательном. Этот жест обозначал предложение сделки, и его понимали сразу. Рыжий худой пленный, по виду лавочник, долго и мучительно торговался с толстяком, отдавая золотой пятирублевик. Человек терпеливо убеждал его, обволакивая словами и мимикой, навалúвался на него, и со стороны казалось, что паук сладостно обсасывает попавшую к нему муху. Добившись своего, человечек побежал дальше, круглый и будто бы благодушный.

Несколько русских солдат, расположившись на земле, ели горячую свинину, купленную тут же. Они ели руками, и сало тяжелыми каплями стекало с их подбородков и пальцев. Вокруг стояли пленные и жадно смотрели на евших. Голод одолел их, и они потеряли себя. Двое униженно подползли и попросили свинину. Один из них упал на колени. Липкие слюни свисали с его губ и паутиной ложились на бороду. Он мотал головой в неистовых поклонах и глухим как земля голосом монотонно повторял:

— Дайте же кусочек христа-ради, хоть мосол дайте.

Один из евших, вольноопределяющийся, визгливо закричал на него. Его слова сводились к тому, что стыдно так унижаться, да еще в чужой культурной стране, что становиться на колени ниже человеческого достоинства. Но солдат не слушал, кланялся в землю и все повторял:

— Дайте кусочек христа-ради, дайте хоть мосолочек.

Вольноопределяющийся возмущенно швырнул ему недоеденный кусок и принялся за другой.

Призрак голода уже вставал над нами. Не все еще видели его, многие имели деньги, другие надеялись на близкое окончание войны (дело было весной 1915 г.), но никто не рассчитывал, что надо будет провести целые годы в стране, отрезанной от всего мира и лишенной самых необходимых продуктов. Массы пленных были благодушно и радостно настроены. Здесь не было боев, были мирные деревенские улицы, по которым бродили жирные украинские свиньи, и на задах темные прохладные сараи, еще полные сена, глядели покойно и уютно.

И когда маленький городской вокзал выбрасывал синие колонны австрийцев с винтовками, патронными сумками и мешками, быстрым маршем проходившие через Раву и скрывавшиеся в полях и переселках, ведущих к фронту, пленные смотрели на них с сожалением и довольством. Жалели австрийцев, которым надо было еще воевать, и радовались за себя, уже окончивших войну.

В Раве стояли несколько дней. Выступили внезапно,

ИНСТИТУТА ЛЕНИНА

без предупреждения. Нас разбудили рано утром, когда солнце еще не одолело рассвета, дали только собраться и повели, даже не покормивши.

В нашей колонне было человек триста. Австрийский цугсфирер — взводный командир, расставил немногих солдат по бокам колонны, маленькие отрядики стали впереди и сзади, и мы тронулись.

Прекрасная шоссейная дорога скоро пошла лесом. Здесь еще недавно прошел кровавый ураган австро-германского наступления. Стволы деревьев были иссечены пулями и шрапнелями. Разбитые повозки валялись на полянах возле дороги. Спицы размозженных колес просовывались сквозь отверстия повозок, как осколки костей из человеческого тела. Жестяные коробки из-под патронов и позеленевшие кучки патронных гильз виднелись в канаве, тянувшейся вдоль дороги и, вероятно, служившей окопами. Лошади со вздутыми животами, вот-вот готовыми лопнуть, лежали, как бы в усталости откинув вытянутые ноги. В одном месте, возле рыхлой, еще свежей насыпи, грудой лежали рыжие австрийские ранцы. Насыпь была сделана наспех, и тошный, прогорклый запах истекал из нее.

Мы прошли брошенную деревню с разбитыми и частью сожженными домами и, свернув с дороги, двинулись через кладбище с маленькой церковкой, купол которой был снесен снарядами. Здесь, видно, жарко дрались. Каменные надгробия служили хорошей защитой. У чугунного христа пули сбили терновый венок, и ржавые железные раны были на ногах ангела с распростертыми

крыльями. Мрамор девичьего памятника побурел от солдатской крови, и милое женское лицо спокойно смотрело из медальона памятника.

Иногда мы отдыхали. Из сопровождавших нас повозок раздавали белые толстые галеты. К вечеру дошли до какой-то деревни и заночевали на ее окраине возле пруда. Тут впервые за несколько дней можно было помыться. Носовой платок служил мне полотенцем.

Из деревни к нашему становью приходили женщины. Их мужей и сыновей давно угнали на фронт, война несколько раз прошла через их деревни, поля были усеяны осколками снарядов и окопами, и все они жили в тяжелой нужде. Они ласково и печально говорили с нами, жалели нас, никакой злобы не было у них к нам, ко врагам, убивавшим их родных, разорявших их землю. Они расспрашивали нас о наших женах и детях, совали нам репу и вареную картошку. Среди них была высокая худая женщина, совсем еще молодая. Она предложила постирать наше белье и починила одному из нас разорванные шаровары.

— Вы подневольные, — плача говорила она, — как и наших, вас погнали на эту бойню, и разве есть за что? Ваши жены плачут по вас в России, как мы плачем здесь о наших мужьях. Нам не нужна война. Война для богатых людей.

Наша охрана не трогала их. Это были молодые здоровые немцы из Штирии, и они хорошо обращались с нами и совсем не торопились обратно на фронт. Их начальник был хмурый молчаливый человек в синих

очках, часовщик из Зальцбурга. Сначала он сердился и огрызался на нас, даже хватался за винтовку и кричал, что застрелит всякого, кто выйдет из рядов. Но потом стал мягче. Разговорился со мной, показал карточку своей жены с двумя детьми и на привале быстро и ловко, одним перочинным ножичком починил мои остановившиеся часы.

Мы подходили к Перемышлю, мощной австрийской крепости, под которой во рвах, в волчьих ямах и на колючей проволоке погибли десятки тысяч русских и австрийских солдат. Крепость только недавно была в бою, и теперь шла кипучая работа над исправлением ее страшного туалета. На исковерканных тропинках еще лежали кучи навоза, неубранного человеческого кала, истерзанные остатки обмундирования и оружия, патронные гильзы и ржавые груды проволоки, изрезанной ножницами во время атаки и вырванной из земли снарядами. Тяжелая вонь шла от всего этого мусора войны, гниющего в грязи и крови. Его убирали, сваливали в кучи, увозили на грузовиках и сейчас же рыли новые ямы, в них втыкались короткие, свеже отесанные колышки остриями вверх, и вокруг проводили заграждения из колючей проволоки и насыпали брустверы.

Мы молча проходили мимо. Церковные колокола громко звонили в городе, там шли торжественные молебны, и ксендзы в белых стихарях и попы в парчевых ризах благодарили католического и православного богов за дарованные победы. Крестный ход вышел за

город, мальчики звонко и весело пели, и священники кропили колючую проволоку и волчьи ямы, благословляя всю эту иссеченную и окровавленную местность, гигантскую арену чудовищного цирка, только что очищенную от крови, от трупов, и опять готовую к новым жертвоприношениям.

В городе кипела грязная, шумная жизнь, какая бывает в портовых городах. На улицах было много военных — офицеров и солдат. Немцы, венгерцы, чехи, поляки, украинцы, сербы и хорваты маршировали в своих синих, защитных мундирах, окуренных дымом и копотью войны. Они знали, что через несколько дней им придется оставить Перемышль — последний их этап к фронту, где они уже были, и веселились, как матросы на берегу перед дальним плаванием.

Лавки были полны товарами. Нарядные женщины шли по тротуарам и с любопытством смотрели на нас, ободранных, обросших бородами, шедших под конвоем по мостовой. А нам после окопов, после скитаний по этапам казались недосягаемым великолепием эти дома, магазины и улицы. Лавочники, коммерсанты, чиновники — почтенные обыватели маленького галицийского города были для нас людьми другого мира. Они были свободны, у них были свои квартиры, они могли гулять со своими детьми и женами, мыться в бане, мы же были лишены всего этого.

На окраине города, в конце кривого, замусоленного переулка у большого каменного дома толпились австрийские солдаты. Женский визг и смех слышались

оттуда. В открытых окнах мелькали разодетые женщины. Крытая терраса перед домом была полна ими. Никогда я не видел столько накрашенных женщин. Казалось, что в доме было гнездо жирных, розовых клопов. Пленные смотрели на женщин жадными глазами.

— Эх, пустили бы нас,— в отчаянии сказал Федотов, светловолосый, голубоглазый человек с белым, маслянистым лицом, приказчик гастрономического магазина.— Не женщины, а филейная колбаска.

— Неужто гулящие?— восхищенно спросил Кушин, солидный крестьянин-хозяин, костромич.— Вот страна-то какая благодатная. Я думал — помещичьи дочки.

Кривоногий австриец с пьяным сиреневым лицом вынул изо рта трубку и весело подмигнул нам.

— Unsere Marschuren![1] — крикнул он.

Его слова перевели. Они вызвали смех.

— Нам бы попользоваться,— с сожалением сказал Кушин,— я бы рубля не пожалел, ей-богу.

— Молчи, снохач,— игриво крикнул Колымов, чернобородый коротконогий солдат в чужой, слишком длинной ему шинели.— Отъелся в Австриях.

Кушин огрызнулся на него, не спуская глаз с толстой женщины в красных чулках и короткой желтой юбке.

— Вот это баба,— про себя сказал он,— у нас в России таких небось нету.

— Сразу видно, образованная страна,— с уважением сказал Федотов.

---

[1] Наши походные девки.

Нас привели к длинному, отдельно стоящему сараю с двориком, охваченным забором. Здесь мы расположились на ночь. В походных кухнях привезли пищу — жирный суп с мясом и хлеб из сеяной муки. Многие из пленных уже обзавелись трубками и курили нестерпимо крепкий и вонючий тютюн. Кушин был неспокоен. Он держался на краю двора и при случае шептался с одним из наших конвойных, глуповатым по виду молодым словаком. К ночи Кушин исчез. Я уснул, его еще не было. Проснулся я от сдержанных голосов. Шептались несколько человек.

— Совсем необыкновенная баба, — слышался голос Кушина, — грудь, как кулебяка на масле, и до чего же нежная. Тело розовое, из белья штанишки с раструбами и кружевами, и вся так пахнет, что замрешь, ей-богу.

— Да ты врешь, — ответил кто-то низким, задыхающимся шопотом. — Людей только распаляешь.

— Да правда же, — убеждающе сказал Кушин. — Уж я ее тискал, зашелся весь, вот и руки ею пахнут, ей-богу же...

— Счастье человеку, — завистливо сказал низкий голос. — Богатым везде хорошо.

Послышался тяжелый вздох и шум. Кто-то укладывался. Стало тихо.

Утром к нам зашел высокий молодой пленный. Лицо у него было курносое, серые глаза под очками глядели рассеянно, на рукаве был красный крест. Он был в домашних войлочных туфлях, без шинели и с балалайкой.

Он улыбнулся нам, всем сразу, показав в улыбке белые, радостные зубы. Оказалось, что он уже два дня был в Перемышле, и его тыкали из одной партии в другую.

— Пристану к вам, — беззаботно сказал он и засмеялся, — а то я совсем неприкаянный.

Через четверть часа мы уже знали его историю. Его звали Васька Шубин. Он был медицинским фельдшером 139 пехотного полка. При отступлении старший врач оставил его в деревне с тяжело ранеными, обещая прислать повозки. Повозки опоздали, и австрийский разъезд захватил раненых.

— Я выхожу из хаты, — рассказывал Шубин, — смотрю — австрийцы. Они всполошились, а я и того больше. Бросился в избу, а они за винтовки. Я руки к богу поднял. Сдаюсь, говорю, со всем своим раненным штабом, принимайте дела. Они поплевались и приняли. Я рад был, что с ранеными разделался. А то один с ними и без всякой помощи и лекарств.

Он весело захохотал. Зубы его сияли, как клавиши нового рояля.

— Балалайка уцелела,— сказал он, нежно погладив инструмент. — Уж я вам сыграю.

Я быстро сдружился с ним. Он сейчас же перешел на «ты» и стал звать меня Агапом.

У него это получалось ласково и легко.

— Эй, ты, Агап,— говорил он, и я откликался, точно меня так звали.

Легкий был человек Васька Шубин, удобный, как

говорили солдаты. В плену мы прожили с ним вместе около двух лет, пока он не уехал из нашего лагеря в Венгрию, на полевые работы.

Утром нас посадили в поезд и отправили в Венгрию. Навстречу все время попадались воинские поезда, направлявшиеся на фронт. Мне запомнился один эшелон. Он состоял из совсем молодых солдат последнего призыва. Среди них не было ни одного бородатого лица, и гнетущее впечатление производила эта молодая, густая и крепкая человеческая поросль, предназначавшаяся на беспощадное истребление. Австрийцы были радостны и беззаботны, как телята, прыгающие перед бойней. Их молодость и неопытность создавали им иллюзии. Война представлялась им, как грандиозная, многокрасочная батальная картина, сопровождаемая бравурным маршем.

Жалко было их.

Мы миновали Карпаты. Поезд несся вниз по узкому горному склону, далеко внизу виднелись игрушечные коровы, детские домики. Крутой обрыв низвергался вниз, кое-где поросший травой, как зеленой пеной. Колеса нестерпимо визжали, вагоны раскачивались с необыкновенной силой. Мы проезжали мост над какой-то горной рекой, и минуту казалось, что поезд висит в воздухе. Показалась станция, но поезд не остановился. Черноусый костистый человек в штатском, увидев нас, погрозил кулаком и сделал рукой жест, как будто режут

горло. В Венгрии нам, правда не часто, но все же приходилось натыкаться на озлобленное к нам отношение. Мне говорили, что как это ни странно, но венгры до сих пор не забыли 1848 года, когда солдаты Николая Палкина помогали Габсбургам заливать кровью восставшую против Австрии страну.

Нелады между обоими частями двуединой монархии во время войны значительно усилились. Богатая хлебом Венгрия неохотно отдавала свои запасы Австрии, и карточная система, например, была введена в Венгрии позже, чем в Австрии.

В Мармарош-Сигете, живописном городе, расположенном у Карпат, нас держали два дня. Там шла окончательная отсортировка пленных по лагерям, и наша партия была назначена в Богемию.

Накануне нашего отъезда толпа пьяных горожан, недавно мобилизованных, в патриотическом раже или просто с отчаянья и тоски по утраченной спокойной жизни напала на пленных. С воем и ругательствами горожане лезли на нас, швыряли камни и потрясали дубинками и ножами. Большинство из них (они были в штатском) по виду были лавочники, торговцы и мелкие чиновники, сброд такого же, очевидно, пошиба, какой у нас в Москве во время мировой войны громил германские магазины и банки.

Нас везли через Вену. Поезд долго стоял на путях огромного вокзала. Целые армии голубых и розовых огней сверкали оттуда, где был город, где-то очень близко играла музыка. Скоро на путь из-за деревьев стали

выходить девушки. Тут, вероятно, было какое-то гулянье. Девушки подошли к вагонам, с любопытством поглядывая на нас. Разговор завязался легко. Некоторые из пленных говорили по-немецки, другие объяснялись знаками и коверкали русские слова.

Людские отношения всегда и везде остаются одинаковыми: где можно — любить, болтать, притворяться вежливым и культурным, где нужно — драться, убивать, угнетать друг друга или сплачиваться для защиты общих интересов.

Не так далеко от Вены был фронт. На фронте исхудалые, завшивевшие венские немцы убивали русских, и те убивали их, а тут их девушки шутили с теми же русскими. Старый кайзер Франц уже шестьдесят восемь лет сидел на своем троне. Стиснутые им шестнадцать народов все еще умирали под гербом двуединой монархии. Ничто как будто не предвещало близкого и страшного конца. Театры были полны, в садах и парках играла музыка, и в ресторанах, в блестящих притонах, в кабачках тысячи людей жили жадной утробной жизнью.

А нас, пленных, везли все дальше, в глубь страны, и рычажки огромной машины делали с немецкой тщательностью нужное число движений и оборотов.

Поезд незаметно миновал границу Австрии, и только по отношению населения к нам мы скоро узнали, что находимся в другой стране, в Богемии. На каждой станции к нашим вагонам бежали женщины со сверт-

ками, кувшинами и корзинами. Они, воровски оглядываясь, не смотрят ли австрийские жандармы, важные и на первый взгляд мало подвижные люди с лакированными черными ведрами на головах (такие у них были головные уборы), совали нам в окна всевозможную снедь: белые булочки, колбасу, огурцы, сливы, сало и молоко.

Мы выбрали вагонным старостой Исая Турнера, черного, похожего на грузина пленного, своей сдержанностью и внутренней какой-то человеческой крепостью привлекшего наши симпатии и доверие. В углу у Турнера скоро накопились горки провизии, и их беспрерывно делили между членами артели. Но голод и жадность к еде были так велики, что люди не могли насытиться. Они беспокойно ходили с оттопыренными губами и жадными глазами, икая и ковыряя в зубах, и каждый раз подбегали к окнам посмотреть, не несут ли чешки еще провизию. Некоторые, самые ненасытные, выскакивали на площадки или свешивались из окон и жалобными голосами выклянчивали подаяние:

— Па-ан, подай хлебца... пани, дорогая, да-ай поесть. Да-ай христа-ради... изголодались...

Башкин, грузный мужик с сырым лицом, с глазами, похожими на большие коричневые веснушки, непрестанно жевал и клянчил больше других.

Он столковался с одним из часовых — пожилым, до мертва худым мадьяром, и они вместе выходили на каждой остановке и бегом скрывались за станцией.

К мадьярам чехи относились с глубокой ненавистью.

Шовинизм, посеянный политикой Габсбургов, властвовал с полной силой, и наши венгерские часовые должны были сидеть на одном лишь скудном казенном пайке. Чехи с омерзением отворачивались от них и ничего не хотели им продавать. Башкин набирал очень много; его сумка вздувалась, как брюхо наевшегося буйвола, и, чтобы не делиться с товарищами, он уходил в уборную и, запершись там, сидел подолгу, поедая с нечеловеческой настойчивостью громадные количества пищи. И, выходя, все же требовал свою долю из общей добычи и опять садился и ел. Мягкие красные обручи его губ двигались кругло и мощно, они обсасывали еду, и темная дымящаяся пасть работала, как домна — без отдыха и устали.

Наше путешествие закончилось на маленькой станции. Поезд долго стоял на запасных путях, и никто не мог сказать, что с нами будет дальше и куда нас повезут. Часовые, которых мы спрашивали, тоже ничего не знали или не хотели говорить. Неожиданно пришла рота австрийцев — совсем стариков,— это был первый призыв ландштурма (ополчения), и нам велели выходить из вагонов. Выходили неохотно. Солдаты не любят перемен, — они могут означать новые опасности и беды.

И когда нас построили и, окружив ландштурмистами, повели по прекрасной вымощенной дороге, многие с сожалением оглядывались на оставленные вагоны.

Дорога, как почти везде в Чехии, была обсажена

плодовыми деревьями — сливами, грушами и яблонями. За два года моего пребывания в Чехии я ни разу не замечал, чтобы кто-нибудь посягал на чужие деревья. Единственными ворами были наши пленные, обиравшие деревья при каждом удобном случае.

Однажды я видел, как старый, сгорбленный чех с лицом сухим и темным, как земляная груша, поймал нашего пленного в то время, когда тот рвал его сливы. Чех был поражен и растерян до чрезвычайности. Он качал головой, всплескивал ладонями и повторял:

— Езус Мария, який шпатный чловек... (какой плохой человек).

И помню, как мучительно стыдно было перед этим стариком, в первый раз в жизни увидевшим такое ужасное нарушение привычной для него крестьянской честности.

Нас привели в Липник — маленькую деревушку, недалеко от которой были расположены каменные казармы-бараки. В этих бараках нас разместили временно — тогда кончалась постройка большого лагеря в Миловицах, рассчитанного на несколько тысяч человек, и во всех окрестных местах тем временем сосредоточивались значительные группы пленных.

Главным начальником всех этих групп был старый оберст-лейтенант (подполковник), угрюмый, массивный человек, у которого подбородок выдавался, как радиатор у автомобиля. Какая-то глухая и бездушная жестокость отличала все его поступки. Австрийские сол-

даты и даже офицеры боялись его не меньше, чем мы. Он чувствовал потребность душить все, что выходило из узких рамок военной дисциплины. Его, очевидно, оскорбляло все человеческое, что он видел у солдат.

— Вы не люди,— кричал он нам,— вы солдаты, вы не ходите, а маршируете, вы не думаете, а исполняете приказы.

С нами он обращался еще хуже, чем с австрийцами. Он находил для нас грубые оскорбительные слова. Он часто присутствовал при том, как мы вставали, обходил наши помещения и заглядывал в наши вещевые мешки. С первого же дня он организовал для нас работу — заставлял рыть в лесу канавы и собирать листья земляники, из которых, как он говорил, должен получаться для пленных прекрасный чай.

В нашей группе был кубанский казак, дикий коренастый человек, совершенно примитивный в своей смелости и стремлении освободиться от пут плена. Казак похаживал вокруг бараков, внимательно поглядывая узкими глазами вепря на лес и белые дороги, уходившие вдаль между зелеными массивами деревьев. Бежать для него, не знавшего ни одного слова по-чешски и по-немецки, было безумием, и однако он бежал, даже не сменив своей черкески на другую одежду. Он пропадал два дня, и потом его привели. Оберстлейтенант, синий от душившей его злобы, вышел к нему. Вооруженные часовые окружили казака, но эта охрана показалась оберсту недостаточной. Он приказал кап-

ралу, начальнику караула, застрелить казака, если тот сделает хотя бы один шаг. Капрал, маленький немец, по виду честный бюргер, застыл с винтовкой у ноги и безумными от страха глазами уставился на казака.

Я должен был переводить казаку вопросы оберста и не меняя тона сказал ему, чтобы он не шевелился во время допроса. Казак усмехнулся. Его скуластое лицо было спокойно. Он с любопытством посмотрел на бесившегося оберста, даже одобрительно хмыкнул, услыхав его ругательства, и, отвернувшись, сказал:

— Ты ему передай, что я в их стране не останусь. Засмеют дома. Все равно сбегу.

Я постарался замять его слова, но оберст, оказывается, понял смысл сказанного казаком. Он вдруг перестал сердиться и приказал увести казака. Капрал, покачиваясь на ослабевших ногах (он потом признался мне, что был близок к обмороку, так как очень боялся, что ему придется застрелить казака), увел пленного и запер его в кладовке с зарешетенным окном. Ночью казак выворотил ржавую решетку и выскочил в окно. Ландштурмист-часовой с воплем страха выстрелил в него, желая скорее поднять тревогу, чем убить бегущего. На выстрел выскочили со всех сторон австрийцы. Казак, низко согнувшись, бежал к лесу. Австрийцы крича преследовали его. Они не стреляли до тех пор, пока не выбежал оберст с револьвером. Увидев его (он был в штанах и ночной рубашке), солдаты стали стрелять пачками. Казак упал, опять вскочил и, погрозив назад кулаком, скрылся в лесу.

Через полчаса его принесли.

Тупое лицо его было спокойно. Зубы молодо блестели из-под раскрывшихся, еще по-живому ярких губ. В левой руке были зажаты смятые листья. Его положили на землю. Австрийцы стояли с растерянными лицами. Оберст подошел с револьвером в руке. Капрал отчаянным голосом доложил ему, что бежавший убит. Оберст приказал мне обыскать казака. Я едва мог выполнить приказание. Горячий, липкий пот покрывал все тело мертвеца. Его рубаха и шаровары у пояса были совсем мокрые. Легкий парок подымался над ним. Столько гремучей энергии, силы и жара было накоплено в этом молодом, крепком теле, что и после смерти оно излучало еще последние потоки теплоты и остывало медленно и неохотно.

После этого случая надзор за нами усилился. Чехи-часовые смертельно боялись оберста и только, когда он уезжал, осмеливались говорить с нами.

Непосредственно нашей группой заведывал лейтенант Задер, призванный из запаса буржуа, владелец консервного завода. Это был мягкий, культурный человек, щеголевато одетый в синий мундир и желтые краги. Он наблюдал за работами пленных, за их кормежкой и был так добродушен и слабохарактерен, что наши солдаты скоро раскусили его, работали, не торопясь, и даже присаживались на отдых в его присутствии. Мы тогда ремонтировали шоссейную дорогу, и Задер, восхищенно

улыбаясь, сообщил мне, что по странной иронии судьбы эту же дорогу прокладывали сто с лишним лет назад русские солдаты. Это было во время наполеоновских войн, и дорога вела к Аустерлицу. Помахивая своей палочкой, он доверчиво признался, что считает войну занятием для варваров и что его очень мучит то, что его оторвали для таких ужасных вещей от мирной жизни и от семьи.

— Культурные люди всегда поймут друг друга, — говорил он, — и тут же к примеру привел случай, рассказанный ему одним вольноопределяющимся. Вольноопределяющийся во время боя ворвался на русскую батарею, и когда русский фендрик (прапорщик), испугавшись смерти, протянул ему свою жалкую сабельку, вольноопределяющийся закричал ему, чтобы фендрик не боялся, так как он культурный человек, знает Толстого, Достоевского и Чехова и любит романсы Чайковского.

Этот рассказ умилял буржуазное сердце лейтенанта. Экономические и политические причины войны были прочно скрыты от него, и ему, доброму бюргеру, казалось, что война порождена только некультурностью народов и, конечно, тем, что эти грязные сербы (diese schmutzige Serben) убили наследника австрийского престола.

Он сам делил на кухне порции мяса, разложенные на жирной деревянной доске, и наиболее голодным и заморенным из нас выбирал лучшие куски, видимо наслаждаясь своим великодушием и чувствуя себя добрым пастырем. Но раз его зверски разнес оберст за какое-то

упущение, лейтенант стоял перед ним вытянувшись, с жалким, беспомощным лицом, и с тех пор он завял, заскучал и однажды своей элегантной тросточкой излупил плохо работавшего пленного. Железная машина войны быстро перемолола его, и сентиментальность его исчезла.

Скоро его угнали на фронт, и я в последний раз увидел его, маршировавшего в полном походном снаряжении впереди отряда солдат, направлявшегося к железнодорожной станции. Он кинул на меня безнадежный взгляд, и горькая улыбка прошла по его губам: культуртрегерство его было разбито вдребезги.

Наша жизнь в Липнике еще не была упорядочена. Мы ведь жили здесь только временно, только до тех пор, пока окончится постройка большого лагеря в Миловицах. В Австро-Венгрии таких лагерей было уже много, но число их все росло вместе с новыми тысячами пленных, приходившими с фронта.

Скоро нам пришлось увидеть и место, где мы должны были потом провести целые годы. Лагерь строили в большой низине, с одной стороны примыкавшей к дороге, а с другой подходящей к прекрасному сосновому лесу, опушка которого заросла кустами и травой. Местность была чудесная и здоровая, но лагерные бараки не давали цвести иллюзиям. Внутри их были деревянные нары в два яруса, и видно было, что они рассчитаны на столько людей, сколько могут вповалку улечься ря-

дом. Сквозь щели между досками пробивался свет, и можно было представить, как холодно здесь должно быть зимой.

Бараки строили пожилые чехи — молодые давно уже были на фронте. Постройка — веселое зрелище, и радостно бывает смотреть, как из мертвых плоских досок и бревен вырастают живые выпуклые здания, как возникают новые формы и линии. Но тут было совсем другое. Уже по краям лагеря, границы которого были намечены, вбивали глубоко в землю деревянные столбы, и на земле лежали катушки колючей проволоки. Проволокой нас должны были отделить от всего мира, от живых, свободных людей.

А дни проходили. Был пятнадцатый год с кровавым Макензенским прорывом в Галиции, с длительными боями в Карпатах и сильнейшим ударом германских армий по Варшаве. Блестящие победы над русскими опьянили австро-германцев. Шовинистическая пресса ликовала, и даже социал-демократические газеты осторожно писали о том, что, в сущности, германскому пролетариату выгодны новые территориальные приобретения. Передовые статьи газет описывали торжество могучей созидательной силы германского народа, они утверждали, что германская культура самая сильная, самая организованная, должна властвовать над миром, и мир должен будет делать все, что ему будет диктовать германский дух (Was ihr der deutsche Geist diktieren wird).

Германия упоенно собиралась проделать с Антантой то самое, что она проделала с Советской Россией в дни

Брестского мира и что с ней самой с таким утонченным совершенством проделала Антанта в Версале.

Наконец, настал день переселения.

Наши помещения отводились под австрийские госпитали, и мы должны были очистить их в спешном порядке. Каменные бараки отнимали у нас, мы переходили под проволоку в черные деревянные гробы, построенные в Миловицах. Было только одно утешение — мы избавлялись от оберста, оставшегося в Липнике.

Шесть километров наша колонна, навьюченная своими пожитками, прошла в два часа. В лагере уже были пленные, пригнанные сюда из других мест. В каждом бараке помещалось от трехсот до четырехсот человек, и двести человек, пришедших из Липника, заняли отдельный барак. Пользуясь сравнительным простором, мы расстелили наши тюфяки с промежутками в несколько вершков один от другого, вбивали в стены гвозди для одежды и вещевых мешков и выметали мусор и пыль из барака.

В первое время было весело, так как в лагере было свыше двух тысяч человек, и мы находили среди них много знакомых. В эти дни в новый лагерь непосредственно с фронта поступали тысячи новых пленных. Они проходили карантин, их шинели, гимнастерки и брюки были измяты и издавали удушливый запах от дезинфекционных камер, где из них паром вымаривали вшей и микробов. Лагерь не казался им столь ужасным, как нам, уже

успокоившимся от фронта и пожившим в каменных бараках, где не было забора из колючей проволоки. Лохматые и заросшие бородами, только-только смывшие с себя грязь и кровь, они радостно расхаживали по лагерю и любовно осматривали длинные пустые аллеи, худосочные кусты и черные стены бараков. Они мечтательно глядели вдаль, туда, где виднелись черепичные крыши чешской деревни, окликали друг друга и бежали к забору, если мимо лагеря проводили корову или проходила женщина. Все тут казалось им прекрасным и милым, символизировало для них мир и тишину, отсутствие окопов и стрельбы, и в первые дни своего пребывания в лагере они были счастливы. Они с царственным видом отправлялись спать и раскидывались на тоненьких соломенных тюфяках. Они даже смеялись от счастья и перемигивались друг с другом. Им казалось, что они достигли тихой пристани. И разве могли они знать, что то, что ожидало их: тиф, дизентерия, холод и медленное, длительное умирание от голода — разве могли они думать, что все это вряд ли лучше фронта?

Среди них я встретил Колышкина, своего однополчанина. Он попал в плен на три недели позже меня и рассказал мне дальнейшую судьбу нашей роты. Наш ротный командир капитан Васильев был убит в том же бою, в котором я попал в плен. Ротный был маленький худенький человек, синеглазый и тонкогубый, один из немногих офицеров, знавших и любивших военное дело. Он любил хитрые ночные разведки, беспрерывные марши и походы в первые месяцы войны, и

ему хорошо было известно искусство обхода и засад. Он погиб во время лобовой атаки, когда спокойно шел впереди роты. Пуля пробила ему живот, и он умер в тот же день. Наш полк перебросили под Ивангород, где в течение нескольких дней из четырех тысяч человек осталось не более шестисот.

...А я так хорошо помню, как выглядели эти четыре тысячи человек в день выступления в поход. Это было в Егорьевске, уездном городе Рязанской губернии. За дни мобилизации тысячи крестьян из окрестных сел и хлудовские и бирдыгинские рабочие, оторванные от своей работы и семей, забили наши тесные казармы. Казалось, чьи-то огромные, безжалостные сети выловили груды рыбы, и она бьется в тесном садке, растерянная и обезумевшая.

Накануне отправки полка в поход всех нас; четыре тысячи человек, уже обезличенных одинаковой защитной одеждой, словно смоченных перед закланием зеленой слюной войны, построили в поле, и попы пели и кадили. Какое же это было издевательское и фальшивое зрелище! Нас отправляли на убийство, на калечение и смерть за наших угнетателей, за проклятый строй, который три года спустя те из нас, что остались в живых, разрушили.

И вот из четырех тысяч осталось только шестьсот, и из них, вероятно, уже многие теперь погибли. Полки первого призыва — лучшая и здоровейшая молодежь — полегли в боях четырнадцатого и пятнадцатого года, а те, кто уцелели, лежали в госпиталях с перебитыми

костями, выеденными глазами или медленно чахли в плену.

Но в начале нашего пребывания в Миловицком лагере, не зная сроков окончания войны и пределов наших мучений, мы были еще полны надежд, и будущее не казалось нам черным.

Тем хуже оказалось потом.

ЛАГЕРЬ В МИЛОВИЦАХ

В нашем большом лагере понемногу складывалась своеобразная жизнь. У ворот стояли часовые, у них был приказ не выпускать пленных из лагеря, но за воротами находились мастерские, в которых работали русские, и они имели право ходить туда без конвоя. Потом какой-то пленный пробрался в чешскую деревню и там напился, и вот в течение нескольких дней из лагеря никого не выпускали.

Среди всей массы пленных оказались портные, сапожники, кузнецы, столяры и люди других профессий, и их понемногу отбирали в лагерные мастерские. Работать в мастерских считалось выгоднее, чем оставаться в бараках, так как и работа по специальности была приятнее черной и трудной работы, на которую посылали пленных, и кроме того, в мастерских были шансы немного подработать. Обжившись и узнав здешние условия, мастеровые приспособились и стали потихоньку брать частные заказы. Среди них были превосходные работники, они часто ходили в соседние деревни и город-

ки за покупками материалов, и скоро у них появились заказы и от чехов. У многих из них завелись деньги, другие пленные получали деньги из России, и они перешивали себе костюмы и казенные ботинки (буцы), чтобы быть понаряднее. Интеллигенты и наиболее грамотные из пленных устроились в канцеляриях. Регистрация и запись лагерного населения, дела о питании и обмундировании, сортировка писем, посылок и денег — все это требовало большого канцелярского штата, и австрийцы, нуждавшиеся в людях, брали на эту работу русских. Хотя не платили жалования (или платили несколько крейцеров в неделю), но эта работа все же давала известные привилегии. Можно было жить в отдельном бараке, чаще ходить в город и получать лучшую пищу. Низшая лагерная администрация — старшие рот, батальонов и бараков — составилась тоже из русских. На эти должности обычно назначались унтер-офицеры и фельдфебели, и они хорошо справлялись со своим делом и оказывали австрийцам немалую помощь. Как правило, пленные их не любили, так как старшие подмазывались к австрийцам, да и назначались они большей частью из людей, готовых при случае продать своих.

Все пленные имели свои номера, которые были обязаны носить нашитыми на гимнастерках или на фуражках. Номера были большие и уродливые,— кусок бязи величиной с ладонь с намазанными черной краской цифрами, но зажиточные и тут устроились. За пять крейцеров Мухин, суздальский иконописец, маленький полу-

засохший мужичок с чугунными глазами, писал узенькие щеголеватые номера, которые можно было подшить под поля фуражки так, что они были мало заметны. Даже коменданта лагеря назначили из пленных. Правда, и он не пользовался свободой, но власть у него была большая, и он мог сделать с нами все, что ему было угодно. По его заявлениям, например, австрийцы арестовывали нас, наказывали или переводили на тяжелую работу. Он пользовался правом непосредственных докладов генералу — главному начальнику лагеря — и имел большие льготы. Все время комендантом нашего лагеря был Ловик, фельдфебель из писарей. У него были вялые зеленые глаза на тяжелом и вязком, как непропеченный хлеб, лице и белые монашеские руки, слишком короткие для его грузного большого тела. Ловик жил в отдельной комнате, завел себе денщика, и ему готовил специальный повар. Он часто уходил с австрийцами в город, напивался там и бывал у женщин. Деньги у него водились. Он подворовывал на продуктах, которые выдавались на пленных, и брал взятки. За деньги он устраивал на хорошую работу или переводил в лучшие помещения. Он выдавал себя за инженера. Впрочем, очень многие пленные придумывали себе разные профессии. Говорила ли в них обычная человеческая хвастливость, хотели ли они улучшить свое положение, или, может быть, угнетенные и обезличенные пленом, они искали себе хоть какой-нибудь компенсации?

Но все рекорды хвастовства побил Глузман — санитар из госпиталя. Крошечный человечек (удивительно,

как его взяли в солдаты) с вечно сияющими глазами и с какой-то торжественной улыбкой на лице, Глузман не знал ни слова по-немецки, но по-еврейски говорил он с немцами с такой самоуверенностью, что они верили его знанию немецкого языка, хотя удивлялись, какой у него искалеченный (verkrüppelte) выговор. Глузман неведомыми нам путями ухитрился уходить один из лагеря. Самоуверенность его была так велика, что даже часовые не останавливали его, когда он, выпятив птенцовую грудишку и сияя глазками, победоносно проходил мимо них. Он носил на куртке какой-то непонятный значок с красным крестом и кроме того огромную повязку с крестом же на руке, обзавелся портфелем, был вечно озабочен, останавливал комендантов бараков, расспрашивал их и, не дослушав, что они говорят, с понимающим видом кивал головой и бежал дальше. Со стороны казалось, что у него важные дела, и когда он со своим портфелем выходил из лагеря, часовые отдавали ему честь, считая его доверенным лицом самого генерала. Трудно было поверить, что этот торопливый, хвастливый человечек (он любил рассказывать про свои подвиги на войне и успехи у женщин) способен на что-нибудь путное. Скоро мы узнали, что он ходит в деревню Миловицы с визитами во многие дома и выдает себя за врача. Он, хмурясь и мыча, выстукивал больных, прощупывал им селезенку, заставлял показывать язык (он видел, как все это проделывал врач в госпитале) и прописывал порошки и капли. Впрочем, названия лекарств он не писал, а

только называл и делал это под тем предлогом, что русскому врачу тут запрещена практика. Дело же было в том, что он не умел писать по-латыни, а названия лекарств запомнил, когда делал обходы с врачом по баракам.

Погиб Глузман быстро и бесславно. Погубила его мелочь. Ничтожный, весь забрызганный прыщами австрийский рекрутик вдруг остановил его по дороге в деревню и спросил, по какому праву он ходит один. Глузман закричал на него, тыча ему в нос свой значок и портфель, но рекрутик, видимо озлобленный сознанием своего ничтожества и желанием удостовериться, что есть люди еще ничтожнее его, ухватил Глузмана за плечо и привел его в караульное помещение.

Все раскрылось с катастрофической быстротой. Как всегда в таких случаях, вдруг объявились откуда-то десятки людей, которые стали беспощадно разоблачать Глузмана У него отобрали значок и крест — все его ордена, выгнали из госпиталя и поселили в лагерном бараке. Он завял, затих и скоро перевелся в другой лагерь. Там он, вероятно, взял свое. Люди, подобные ему, подымаются, как ваньки-встаньки.

Такова уже их сущность.

Из главной массы пленных выделялись самые сильные, умелые, ловкие и зажиточные, они устроились отдельными группами, артелями и промышляли, чем могли. Писаря, ремесленники и вольноопределяющиеся имели

свои особые бараки. В них было немного чище и благоустроеннее и зимой теплее, чем в остальных бараках, люди жили там не так скученно, тюфяки были потолще, и чувствовалась некоторая зажиточность. Но таких бараков было пять или шесть на весь лагерь, в них жили только несколько сотен самых богатых, крепких и наиболее приспособленных к борьбе за жизнь пленных, вся же остальная масса должна была обходиться одним казенным пайком, скудным и недостаточным. В пятнадцатом году пленных кормили еще сносно, давали полкило хлеба в день на человека и суп с мясом. Но с каждым месяцем, по мере того как продолжалась война и истощались средства блокированных со всех сторон центральных держав, паек становился все скуднее, и голод в лагерях быстро рос. Все, кто могли, записывались на полевые работы, на шахты или на фабрики. К концу войны сотни тысяч пленных жили по чешским, немецким и венгерским деревням без всякого надзора, под ответственностью своих хозяев. Многие из них на зиму возвращались в лагери, но были счастливцы, которые навсегда вырывались из лагерей и целые годы оставались в деревнях. Овдовевшие или потерявшие связь со своими мужьями крестьянки скоро привыкли к новым работникам, и нехитрый порядок деревенской жизни брал свое. Пленные научались чужому языку, привыкали к новой жизни, пахали, сеяли, косили, чинили избы и сараи и постепенно заделывались настоящими хозяевами. Женщины подчинялись их умению и опытности в крестьянском деле, их мужской силе и незаметно сходились

с ними. И так как все это происходило повсюду и принимало массовый характер, то переставали стесняться и соседей, пленный надевал одежду отсутствующего хозяина и становился совсем своим.

Еще до окончания войны в канцелярии лагерей поступали многочисленные прошения военнопленных, ходатайствовавших о разрешении им принять австрийское подданство и остаться в стране. И после войны десятки тысяч пленных и среди них много таких, которые имели в России свои семьи, остались в Австрии, Венгрии и Чехо-Словакии.

Помню, сколько слез и горя вызвал в семнадцатом году приказ военного командования о снятии пленных с работ и о возвращении их в лагери. В бараки возвращались люди, совсем не похожие на нас, постоянных жителей лагеря, здоровые, загоревшие, и многих из них провожали женщины с грудными детьми, которых они прижили с этими пленными, настоящие жены, не хотевшие оставить своих новых мужей.

Приказ был скоро отменен, но еще долго до отмены его от крестьянок поступали заявления и просьбы о возвращении им их работников.

Странные вещи проделывает иногда жизнь.

Я уже говорил, что нары в бараках были расположены в два яруса. Места в верхнем ярусе считались лучшими — наверху было больше воздуха и света. Но все же многие из нас предпочитали нижние места. Потолок нависал там так низко, что человек не мог стоять

в рост, но зато не надо было карабкаться наверх по неудобной лесенке, и люди, слабые от истощения, очень с этим считались. Теснота не мешала им, особенно зимой. Пленные не брезгали друг другом и охотно ложились рядом. Тепло, шедшее от тел соседей, было самым главным теплом, согревавшим их, так как огромные чугунные печи топили мало.

Уже первые месяцы лагерной жизни создали свой особый уклад и быт, какой создается в тюрьмах и казармах. Произошел своеобразный, естественный отбор людей по их силе, ловкости, умению приспособляться, зажиточности и по профессиям. Появилась тайная торговля. Самые пронырливые с непостижимой быстротой и смелостью заводили подпольные связи с австрийцами и через них с окрестным населением. Установились цены на продукты и носильные вещи. Продавались и покупались русские деньги. Те, кому везло, прятали деньги до возвращения в Россию. Уже много времени спустя, в лагере называли богачей, скопивших по нескольку сот и даже тысяч рублей.

Среди торговцев выделялся Юра, грек из Балаклавы. Он был высок, худ и жилист и отличался странной походкой: шел не грудью, а как-то боком, плечом, и сообразно этому поворачивал и голову — словом, шел углом. Происходило это, может быть, потому, что Юра сильно косил и не мог прямо посмотреть на человека. У него были пышные усы, и он холил их и обладал целой коллекцией бинтов для них. В движениях он был стремителен, в разговорах тоже и умел обойти кого угодно

так ласково и легко, что противостоять ему было очень трудно. С первых же дней своего пребывания в лагере Юра занялся торговлей. Нельзя было понять, откуда он достает продукты, но доставал он во всякое время все, что ему было нужно. Слава его была так велика, что в шестнадцатом году, когда усилился голод, австрийские офицеры поручали Юре покупать им масло, сало, мясо и хлеб. Каждое утро Юра с походным мешком за плечами в сопровождении австрийца уходил из лагеря.

— Юра пошел на базар,— говорили пленные.

Возвращался он иногда поздно вечером, и австриец нес больше груза, чем он. Во время своих экскурсий Юра кормил его и поил ромом, и голодный солдат целиком подчинялся ему.

Юра поставлял только дорогие вещи — ветчину, сыр, кур, белый хлеб, яйца, масло — он работал только на богачей, остальные же продукты поставляли другие торговцы из пленных. Были специалисты по картошке, по черному хлебу, по рому, и торговля у них шла бойко. В самые голодные годы в лагере можно было достать провизию, но стоила она, конечно, непомерно дорого и была доступна лишь немногим.

Выпускали из лагеря не всегда, но было много путей обхода, и ими пользовались. Например, кухари ходили в соседние деревни за продуктами, сапожники и портные за кожей, нитками и пуговицами, и кроме того, и сами австрийцы тайком уходили с русскими, так как им всегда что-нибудь при этом перепадало.

У Юры, у Ловика, у Левита, начальника портных,

и у некоторых других пленных были свои квартиры в окрестных селеньях, где их ждали и принимали всегда. Чехи поддерживали с лагерем оживленные отношения. Они обменивали на продукты вещи из получаемых пленными посылок, шили обувь у лагерных сапожников и продавали в лагерь картошку, ром и вино. Особенно охотно покупали они у пленных кустарные изделия. Кустарная работа прочно привилась у нас и нашла самое широкое распространение. Делались резные деревянные шкатулки, табакерки, ящики, выжигались тарелки и блюда, игрушки и мелкая мебель. Из алюминия выделывали кольца, пояски, из кусочков дерева — особые изгибающиеся змеи, ложки и другие вещи.

Мухин, суздальский иконописец, пытавшийся писать иконки и бросивший это занятие за отсутствием сбыта, научился прекрасно вырезать из дерева людей и животных. Он был зол, скрытен и осторожен и всей своей манерой походил на хорька. Он сумел подмазаться к Ловику, а через него к генералу, начальнику лагеря. Мухин вырезал для генерала группу, изображающую австрийского санитара, перевязывающего раненного русского, и отказался взять за нее деньги. Расчет его оказался верен. Он получил ряд льгот и, что для него было очень важно,— право уходить когда угодно из лагеря в сопровождении австрийца. Его изделия пользовались большим успехом среди чехов, и Мухин, жадный и скупой, работал по ночам. Его у нас не любили за злость и подхалимство, и когда он заболел тифом, вещи его безжалостно растащили.

Среди кустарей был еще Швандин: пуля изуродовала его — он перестал быть мужчиной и на наших глазах постепенно превращался в евнуха. Лицо его уже не зарастало бородой, рыхлело и отекало бабьими складками, голос тончал, и появлялись в нем визгливые ноты. Швандин артистически делал гитары, балалайки и даже скрипки. Он свил себе гнездо на верхних нарах нашего барака, отгородился от соседей фанерой и пологом и завел себе большой сундук, который запирал особым каким-то замком. Он не любил работать на людях, видимо берег тайну своего искусства и в самом деле работал превосходно. Когда у нас в лагере завелся оркестр, он по хорошей австрийской скрипке вызвался сделать такую же, загородился в своем гнездышке и за десять дней выпилил деку. Потом я слышал его скрипку в оркестре — она звучала очень неплохо, и Коган, лучший наш лагерный скрипач — хвалил ее.

Швандин был богомолен. Для него Мухин по особому заказу намалевал две иконки — Николы угодника и «Всех скорбящих радости», и Швандин повесил их у себя, по ночам зажигал лампадку и долго молился. Помолившись, любил есть леденцы, причем не сосал их, а грыз и мог сразу съесть очень много — фунт и больше. Со своим уродством он примирился не скоро. Думаю, что и богомольность его шла от мук. Однажды, услыхав из его каморки плач и всхлипывания, я прокрался к нему. Было поздно. Ночь затянула окошечки барака черным сукном. Все спали. В щелочку я увидел Швандина. Он, тоненько плача, сидел, разбросав ноги,

подняв рубаху и, светя себе лампадкой, глядел на своё изуродованное тело. Потом достал Николу и, покапав на него маслом из лампадки, приложил икону к паху. То же он проделал с богородицей. При этом он всхлипывал, быстро крестился, и какая-то скупая надежда светилась на его отекшем лице.

Мы знали, что он не хотел вернуться в Москву к семье, а собирался в монахи на Новый Афон, но после революции он переменил решение. С год назад я видел его в Москве. Он заведывал домом для слепых инвалидов. Со слепыми ему, вероятно, было легче. Они не замечали его уродства, его бабьего, безволосого лица.

В лагере Швандин, Мухин и подпрапорщик Козеев, начальник сапожной мастерской, образовали ядро церковного совета. Они исхлопотали у австрийцев разрешение на устройство лагерной церкви, что было легко, так как австрийцы поощряли религиозные церемонии и даже иногда присылали в лагерь священника. Под церковь отвели огороженную часть пустого барака, устроили амвон, понавесили образов и лампадок, несколько лубочных картин религиозного содержания, а над входом прибили крест, выточенный Швандиным.

Главную роль в церковном совете играл Козеев, низкий, но непомерно широкий человек, слепленный из четырехугольных кусков мохнатого от волос мяса. Голос у него был густой и низкий, лицо бульдожье, заросшее смоляными волосами, и на лице — неожиданно чистые и ясные голубые глаза — как два озерца в болоте. Козеев был деспотичен и тяжел на руку, один из старых фельд-

фебелей, которых солдаты метко прозвали шкурами. Он и сейчас бивал своих сапожников и благоволил только к тем, кто умел хорошо делать французские каблуки. К французским каблукам у него была непонятная слабость, и у себя в сундучке он собрал их целую коллекцию. Заботясь о благолепии церкви, он придумал для священного писания, лежавшего на аналое, подставку на четырех французских каблуках, оклеенных золотой бумагой.

Мухин пробовал было с ним погрызться из-за каблуков, но Козеев, ухватив его медвежьими руками и пригнув к себе, с угрозой прошептал:

— Ты что, мазила, богопротивишь? А если у меня основания есть? А ежели каблук из кипариса, святого дерева?

Мухин струсил и отрекся, и Козеев, отпустив его и вдруг обмякнув, признался, что у него есть мечта. Он хочет сделать статую богородицы на французских каблуках из кипариса. Мухин опасливо напомнил ему, что статуи водятся только у католиков, у православных же запрещены, и Козеев, угрюмо выслушав его, ничего не ответил.

В церкви он бывал ежедневно, причем любил запираться там, когда никого не было. Он зорко следил, чтобы его сапожники по субботам ходили в церковь, ко всенощной, и требовал от комендантов бараков, чтобы они гоняли (он так и говорил «гоняли») людей на молитву. У себя в бараке он ввел утреннее и вечернее пение молитв. Его боялись и слушались. Кто-то пустил

слух, что он тайно ведет списки всех пленных, замеченных в чем-нибудь плохом, и эти списки собирается передать куда надо по возвращении в Россию. Я допускаю, что он и в самом деле завел такие списки, так его тупая жандармская душа возмущалась ослаблением дисциплины среди пленных, которые, по его мнению, были солдатами действительной службы. Ловик рассказывал, что Козеев как-то потребовал личного рапорта у генерала и представил ему свой проект ежедневного обучения солдат строю, но генерал, похвалив Козеева за солдатское сердце, все же отклонил его предложение, за отсутствием инструкций на этот счет.

Конец Козеева наступил неожиданно. В лагерь прибыла новая партия пленных. Среди них был Еремеев, рослый кудрявый парень, донецкий шахтер, которого не могли обезличить ни война, ни плен. Увидев Козеева, Еремеев скосился, позеленел и бросился на него с кулаками, крича:

— Вот где я нашел тебя, шкура царская, вот где ты!

Козеев неожиданно для всех струсил и побежал от него рысью, а Еремеев гнался за ним и с яростью ревел:

— Шкура царская, на фронте не утопили, здесь дотопим...

Через час весь лагерь знал, что на фронте Козеева за жестокое обращение солдаты его роты бросили в отхожее место, и спасли его только случайно, вытащив железными крючьями.

Опозоренный Козеев потерял всякий авторитет и должен был уехать из лагеря. Еремеев добил его.

Власть в церкви перешла в руки Мухина, сильно обрадовавшегося падению Козеева — он боялся подпрапорщика и считал его еретиком.

— В отхожее бросили,— говорил он, мелко и часто потирая руки,— разве можно такого опоганенного человека держать при святом деле?

Мухин любил пение и много заботился об образовании хорошего церковного хора. Но тут ему пришлось столкнуться с большими трудностями. Оказалось, что все лучшие тенора в лагере были евреи, а басы — русские. После долгих колебаний Мухин пошел на компромисс с русским богом и пригласил евреев в церковный хор. Он горячо доказывал Швандину, что еврейский бог — это бог отец, то-есть член небесной коллегии — троицы, и поэтому евреям можно петь в хоре. Швандин согласился, главным образом, из-за Айзенберга, певца с чудесным и хорошо поставленным голосом, ученика лейпцигской консерватории. С тех пор и повелось так, что еврейские тенора славили Христа в церкви, а русские басы гудели славословия Иегове в лагерной синагоге. К этому все привыкли, и религиозно-вокальный интернационал получил в лагере всеобщую санкцию.

Мастерские были расположены в центральной части лагеря и отгорожены проволокой от остальных бараков. Тут работали с раннего утра до сумерек, и работа шла преимущественно на пленных. Сапожники чинили обувь или шили из старой покоробившейся кожи тя-

желые буцы. Обувь чинилась даже такая, которую давно пора было бросить. Бывало, что пленный приносил коменданту барака для смены на новые, совсем сношенные и развалившиеся буцы, комендант сдавал их в мастерскую, а австрийский фельдфебель приказывал их чинить. Чинили скверно — накладывали огромнейшие заплаты разных цветов, так что вместо обуви получалась бесформенная куча старой кожи. Сапожники делали и вольную работу, за нее они платили Козееву, чтобы он позволил им работать в казенное время. Перешивались буцы. Они долго мочились, заново перекраивались, к ним делался наружный носок и высокий наборный каблук. Но лучше всего делались сапоги. Австрийские сапоги не нравились пленным,— они были неуклюжи, с низкими, глубоко вырезанными голенищами. Русские сапоги, шившиеся в лагере, скоро вошли в большую славу, и их много заказывали окрестные жители и австрийские солдаты и офицеры.

Портновская мастерская помещалась рядом с сапожной. Половина барака была занята под склад, в другой работали портные. Тут хозяином был Левит, высокий человек с расчесанной на стороны черной бородой и синими глазами. Левит был молчалив, редко кто слышал его голос, но молча, он превосходно управлялся в своей мастерской. К портным привозили огромные круглые штуки дрянной бумажной материи, и из нее они шили гимнастерки и шаровары для пленных. Кроил обычно Левит. Он снимал ловко сидевшую на нем тужурку, завертывал рукава и, неожиданно обнаружив

на худых руках сильные мускулы, широким резаком кроил положенную во много рядов материю. Трудно было понять, что он за человек, но зла он никому не делал, и его портные и другие пленные относились к нему хорошо. Он был законодателем лагерных мод, и с тех пор как он из белой тюфячной наволочки сшил себе костюм — брюки и тужурку — такие костюмы пошли в ход, и в короткое время были разворованы все белые наволочки в лагере. Вообще при недостатке носильных вещей костюмы шились из чего угодно — из шинелей, одеял, простынь и мешков. Левит молчаливым кивком головы давал согласие портным шить вольную работу, и всегда несколько человек были заняты ею. Сам он раз в неделю, по субботам, уходил в Миловицы к своей любовнице. В лагере все знали, что любовница была женой офицера, полная красивая блондинка, и что кроме Левита она никого не принимала.

Лучшим портным в лагере считался Абрам Мазель — веселый желтенький (желтыми у него были волосы, лицо и глаза) человечек с гнилыми зубами и хромой. Он страстно жаждал вернуться в Россию, так как из-за хромой ноги его должны были отпустить домой. Слава Мазеля упрочилась после того, как он сшил мундир самому генералу. Мазеля рекомендовал генералу оберлейтенант Вегер, которому он сделал китель, и Левит безбоязненно подтвердил Вегеру, что за Мазеля он ручается.

Желтенького портного привели в генеральский кабинет, помещавшийся вне лагеря, в каменных бараках,

и Мазель, дыша в сторону и становясь на цыпочки, обмерил грузную генеральскую фигуру. Он потом рассказывал, что ни капельки не боялся и, примеряя китель, даже спросил генерала, не жмет ли ему подмышками. Генерал заплатил три кроны, и Мазель, расхрабрившись, спросил его, не может ли он, как инвалид, рассчитывать на обмен. Вегер, присутствовавший при примерке, бешено вздыбил свои усы, но генерал не рассердился и, пожевывая коровьими губами, ответил, что обмена еще нет, а если будет, то обменяют и Мазеля.

Генерала в лагере считали хорошим человеком, хотя хорошего он нам ничего не сделал. На спокойную должность начальника лагеря его назначили из-за старости, и на фронте ему не пришлось быть. Несмотря на свои семьдесят лет, он держался еще бодро, но бодрость эта исчезла на наших глазах. Генерал получил известие, что его второй сын убит на фронте (первый сын погиб еще в самом начале войны). Генерал не показывался несколько дней. К нему приехала из Праги его жена, маленькая старушка в черной кружевной накидке, и они сидели вместе в генеральской квартире, и никто не знал, что они там делали. Скоро, однако, мы увидели их. Они часто гуляли на опушке леса за лагерем. Оба шли медленно, генерал держал жену под руку, белая голова его в смешной высокой шапке ведром дрожала, и видно было издали, что оба молчат и ни о чем не говорят друг с другом.

В лагере был художник Павчинский, и через Ловика и Вегера его пригласили по фотографической карточке

сделать портрет убитого лейтенанта. Павчинский работал в лагерной канцелярии, и мне удалось увидеть портрет. Он изображал молодого офицера, стоявшего навытяжку с фуражкой и перчатками в руке. В совсем юном, веселом и смеющемся лице было какое-то сходство с разрушенным и иссохшим лицом генерала.

Через месяц генерал уехал совсем. Вегер рассказывал Ловику, которому он доверял, что генерал впал в слабоумие, пытался вложить в руки портрета сына револьвер и кричал:

— Стреляй в них, стреляй, а то они пошлют тебя на смерть!

Генерала сменил полковник, раненный на фронте. Он ходил, опираясь на палку с толстым резиновым наконечником, и первым делом запретил выпускать пленных из лагеря. Не выпускали две недели, а потом стали делать исключения для сапожников, портных, писарей, и запрещение тихо заглохло. Выход из лагеря ценился очень высоко даже теми пленными, которым из-за отсутствия денег некуда было пойти, потому что огороженные колючей проволокой черные бараки надоели до смерти. Сопровождающих давали из солдат лагерного караула или из австрийцев, занимавших хозяйственные должности в лагере.

Любимыми местами прогулок были Лиса, Новый Банадек и деревня Миловицы. Лиса, маленький чешский городок на берегу Эльбы, лежал в трех километрах от лагеря. Тут у многих пленных были знакомые, и если сопровождающий австриец, что и случалось чаще

всего, был свой человек, то, походив по магазинам, забирались потом куда-нибудь на квартиру, посылали за ромом и вином и устраивали пирушку. Проделывали все это, конечно, люди зажиточные, да такие, главным образом, и ходили в город.

В городе совсем не было мужчин — все они были на фронте, и чешки обычно легко находили себе друзей среди пленных. Случалось, что все — и пленные и австриец — напивались до того, что едва добирались до лагеря. Тогда на помощь приходили лагерные австрийцы, которым невыгодны были скандалы, дело обычно прятalось и скрывалось, и пьяного часового засовывали в укромный уголок выспаться.

За все время было всего два-три случая, когда пленные попадались. В общем же они сами береглись, и все сходило гладко. Конечно, не было примера, чтобы кто-нибудь убежал с прогулки, так как этим он подвел бы всех своих товарищей. Бежали иными путями, и побегов было особенно много в шестнадцатом и семнадцатом году, когда положение в лагерях сильно ухудшилось, и начали кормить совсем плохо. Убежать из лагеря было легким делом. Ночью можно было подлезть под проволочный забор, охранявшийся весьма слабо, одним примерно часовым на каждые полтораста-двести метров, да и часовые были из ландштурма,— слабые, пожилые люди, вооруженные старинными винтовками, вроде наших берданок. Главная трудность побега заключалась в том, чтобы суметь пробраться через всю страну до самой линии фронта. Насколько я знаю,

это удавалось очень немногим, и почти всех бежавших схватывали через один-два дня и доставляли обратно в лагерь. Наказание за побег было не строгое,— две недели ареста, и вот многие уже бежали просто потому, что чересчур тяжело и скучно было в лагере, и хотелось побродить по стране. Чехи редко выдавали русских, они даже кормили их и позволяли ночевать, но беглецов губило незнание языка и местности и отсутствие австрийской одежды. Ловили беглых жандармы, и они же приводили их обратно в лагерь. Ловик встречал беглецов матом и докладывал обер-лейтенанту Вегеру. Вегер равнодушно кивал в ответ — ему в сущности было все равно,— побеги происходили из всех лагерей, особых опасений австрийцам не внушали и считались в порядке вещей. Замечательно, что более всего было недовольно побегами свое, русское начальство — коменданты бараков, старшие, кухари и вообще все, кто хорошо устроились в плену. Они боялись, что побеги могут им напортить.

Иногда вместо ареста применялось и другое наказание — очень унизительное и тяжелое. Оно называлось подвешиванием и заключалось в следующем. Человека привязывали к столбу за руки и ноги. Руки завязывались сзади у кистей, а ноги у щиколоток, так что привязанный стоял на цыпочках и если хотел опуститься на пятки, веревки врезались ему в тело. Подвешивали на час, на два и на больший срок, и бывало, что подвешенный, обессилев, повисал, и веревки до крови прорезывали его тело.

Но самым большим мучением был для пленных в лагерях вечный голод, медленное умирание от истощения. Мучила еще сильно неизвестность, когда кончится война. Конечно, по лагерю ходило много слухов, и не проходило месяца, чтобы кто-нибудь не распускал сенсационной вести о том, что уже ведутся мирные переговоры и "скоро" пленных начнут отправлять в Россию. Такие слухи были особенно сильны в пятнадцатом году, после победоносного наступления австро-германцев. Помню, как чех-подрядчик, производивший у нас в лагере какие-то работы, косоплечий человек с бескровным лицом, на котором желтые усы росли, как поблекшая трава на заброшенном поле, говорил нам, что война закончится не позже, чем через месяц. Он основывал свои заключения не на том, что австро-германцы добьют русских.

— Ах,— говорил он, простирая вперед руки,— я видел, какую массу искалеченных людей привозят в наши госпитали. Вы не знаете сколько сотен тысяч молодых, цветущих жизней унесла эта война. Я говорю вам, что все они, те, которые вызвали эту варварскую бойню, убедились, что дошли до конца, что такой ужас не может больше продолжаться, и прекратят его. Да, я уверен в этом. Разве они не люди?

Бедный идеалист говорил с большим жаром, но немногие из нас верили ему. Мы хорошо знали, что никакие убийства и разрушения не остановят тех, кто вызвал эту войну и кому она была выгодна. Мир был плохо устроен. И мы узнавали это на горьком опыте

с каждым месяцем войны и плена. Миром управляли холодные, жестокие, хищные и беззастенчивые люди, бандиты и преступники, и никто при существующем порядке не мог обуздать их.

Реальнее были слухи о предложении Австрией сепаратного мира России. Об этом говорилось долго и упорно, и австрийцы поддерживали эти слухи. Несомненно, что идея сепаратного мира с Россией была очень популярна в Австрии, где усталость от войны была чрезвычайно велика, и только железный кулак Германии, предусмотрительно занявшей своими войсками часть австрийского фронта и распоряжавшейся в Австрии, как у себя дома, мешал осуществлению этого плана.

Когда в 1916 году центральные державы предложили Антанте начать мирные переговоры, буйная радость охватила нас. Даже призрак мира, так нужного нам, повеял на нас сладкой надеждой. И хотя эта надежда не осуществилась, мы долго находились в беспрерывном ожидании конца войны. На краю лагеря давно уже лежали доски, предназначенные для постройки новых бараков, но бараков не строили, и в этом мы тоже видели близость окончания войны: зачем австрийцам строить новые бараки, если все равно скоро конец?

И вдруг как-то утром начали строить. Рабочие рыли ямы, вкапывали столбы, выводили деревянные стены... Несколько дней глубокое уныние владело всем лагерем. На постройку приходили кучки худых, оборванных людей и молча, с суровыми лицами смотрели, как растут новые бараки.

Значит, еще не видно конца, значит, еще долго придется нам тут мучиться в проклятом Миловицком лагере, если опять готовят новые помещения для пленных.

И, действительно, целые годы прошли, прежде чем опустел наш лагерь. И еще долгие месяцы после окончания войны сотням тысяч людей пришлось провести в бараках, так как нешуточным делом было перебросить в Россию миллионы людей, при тогдашней неурядице и разрухе транспорта.

Я уже упоминал, что в лагере были люди самых различных профессий. На пространстве двух квадратных километров жило несколько тысяч человек. Тут были землепашцы, плотники, столяры, портные, сапожники, торговцы, приказчики, маляры, кустари, актеры, музыканты, библиотекари, мелкие чиновники, техники, агрономы, журналисты, наборщики, счетоводы, ювелиры и часовых дел мастера, фабричные рабочие и шахтеры, но больше всего, конечно, было крестьян. По национальностям пленные делились на русских, украинцев, белоруссов, евреев, грузин, армян, татар, чувашей, поляков, литовцев, латышей и эстонцев. Был даже один цыган. Обжившись в лагере, все они понемногу объединились по артелям, по дружбе, по работе, землячеству или национальностям, устраивали свои общины и кружки. Но чаще всего объединялись по классовым признакам, и не было того, чтобы богатые объединялись с бедными, или обитатели привилегированных бараков тесно водились с людьми, голодавшими в общих бараках, хотя

бы те были их земляками или соплеменниками. И грузинский князь Нижерадзе жил на особом положении у писарей, дружил и пил вино с русскими и евреями, не касаясь своих земляков, а те спали на одних нарах с русскими крестьянами, такими же бедняками, как и они.

Общественная жизнь была довольно сильна в лагере. Австрийцы не мешали культурной самодеятельности пленных, которые получали некоторые средства от нейтральных благотворительных обществ — шведских и американских. Помощь шла и из Австрии, например, полякам, украинцам и евреям немного помогали их соплеменники.

Раньше всего организовался лагерный хор, организовался почти самотеком, потому что нет, кажется, такого места и положения,— в тюрьме ли, в ссылке, на фронте, в окопах, или как у нас в плену, когда бы люди обходились без пения. Песенники собирались чаще всего вечерами, после ужина где-нибудь на краю лагеря и заводили песни. Лучшим хором считался украинский. Украинцы пели «Закувала та сиза зозуля», «Реве тай стогне», «Завещание» Шевченко, и красивые и грустные их песни привлекали густые толпы людей. Скоро выявились и солисты: чахоточный, мелкого сложения человек — Кудрин, с таким острым кадыком, что он, казалось, вот-вот прорвет кожу на горле, обладавший нежным, высочайшим фальцетом,— баритон, фельдшер Дудниченко скоро впрочем ушедший в госпиталь, и феноменальный бас Сергеев, парикмахер, с лицом крупным и добродушным, как у сен-бернара. Сергеев пел в хоре октавой, и когда

во время пения он вступал по знаку регента, тяжелые глыбы звуков катились из его горла и сотрясали воздух. Хор разрастался и стал так велик, что его разделили на несколько частей. Лучшие силы были отобраны для театра. Управление театральным хором попало в руки Демидова, хорошего московского регента, и благодаря ему хор стал петь так хорошо, что его вызывали в австрийские каменные бараки давать концерты. Успех хора был велик, и обер-лейтенант Вегер, желая похвастаться, хотел повезти его в Прагу, но не получил на это разрешения.

Демидов много работал с хористами и репетировал с ними в пустом бараке. Он кидался от одного к другому, держа двумя пальцами камертон, и голосом, мимикой и движениями направлял певцов. В течение двухмесячного его пребывания в лагере все носились с ним и всячески угождали ему, высоко ценя его мастерство. Ловик устроил его в писарском бараке и часто поил ромом, считая, очевидно, что хор делает ему честь, как коменданту лагеря. Но Демидов был неуживчивый, беспокойный человек, сидячая жизнь убивала его, и скоро мы заметили, что он тоскует в лагере, как птица в клетке. К нам он попал из венгерского лагеря, откуда бежал, и в первое время ходил в рваной, старенькой гимнастерке и в огромных буцах, перевязанных веревочками. Мухин, глубоко восхищенный его искусством, отдал ему без колебаний свою суконную куртку, а подпрапорщик Козеев под расписку одолжил Демидову двадцать крон и подарил ботинки.

И вот, как-то накануне большого концерта Демидов

пропал. Больше мы о нем ничего не слыхали. Он убежал из лагеря и потом, будучи, пойманным, вероятно, отказался назвать лагерь, откуда убежал, и его перевели в другой лагерь. Замечательно, что скупой Мухин не жалел о пропавшей куртке и не считал Демидова вором.

— Артистический человек,— говорил он, дергаясь елейным лицом,— и регент небесной силы. Я бы ему все отдал, только бы вернулся.

Козеев не поверил в артистичность демидовской натуры и, сжав квадратные скулы, пообещал при случае с мясом вырвать у него свои деньги.

Вслед за хором был организован и оркестр. Фанатиком этого дела оказался Хин — мрачный, черноглазый, с негритянскими волосами виолончелист киевской оперы. Виолончель ему достал Вегер, большой любитель музыки, и Хин, запершись в пустом бараке, целыми днями выводил свои сольфеджии. Играл он хорошо, хотя тон его игры был немного резок, как будто Хин испытал в жизни большое потрясение и не мог от него оправиться. Он упорно ходил к Вегеру и к начальнику лагеря, добиваясь у них инструментов, связался с пражскими музыкальными кругами и в конце концов достал две скрипки (третья была самодельная — ее сделал Швандин), тромбон, флейту и баритон. Оркестр составился такой: виолончель, три скрипки, две флейты, баритон, барабан и бас-балалайка. Бас-балалайка, сделанная тем же Швандиным, должна была заменять контрабас, достать который было невозможно. Позже в состав оркестра вошел пианино, взятое напрокат. Хен проводил

репетиции с такой зверской требовательностью, что скоро добился превосходных результатов. Он добился у Вегера, чтобы музыкантов освободили от работ, и заставлял их репетировать по два раза в день. Хин плохо говорил по-русски, и когда оркестранты ошибались, он неистово отбивал смычком такт и кричал:

— Смотрите в нотах! Смотрите же в нотах!

Хина слушались все оркестранты, кроме Когана. С Коганом он беспрерывно ссорился и ничего не мог с ним поделать. Коган играл первую скрипку, и собственно на нем держался весь оркестр. Высокий, непомерно костлявый, с ногами, как оглобли, с синеватым лицом, скупо обтянутым кожей, тусклоглазый, с отвисшей губой, он производил впечатление идиота, но играл удивительно хорошо. Обаяние его игры было так велико, что самые неразвитые из пленных, никогда не знавшие, что такое хорошая музыка, слушали его подолгу и в той напряженной тишине, которая лучше всего говорит о связи между артистом и слушателями. Коган представлял собой удивительное сочетание глупости и таланта. Он с трудом составлял самые простые фразы и когда чего-нибудь не понимал, начинал хохотать, широко разевая большую белозубую пасть. Играл он с удивленным видом, как будто сам не понимал, откуда у него берутся такие прекрасные звуки. Репетировать он не любил, но природная музыкальность и талант помогали ему. Техника у него была хорошая, и Хин считал его вполне законченным музыкантом, но очень ленивым и капризным. Когану, действительно, ничего не стоило бросить во вре-

мя концерта игру в оркестре и уйти. Только ему одному Хин не кричал: «смотрите в нотах» — и, часто ругаясь с ним, тушил бессильную ярость в своих смоляных глазах.

Коган выступал солистом на наших концертах, и его часто звали играть в австрийские бараки. Вегер далеко разнес его славу, и послушать его приезжал концертмейстер пражской оперы. Коган играл ему на квартире у Вегера, и концертмейстер вызвался хлопотать о том, чтобы Когана перевели в Прагу, но к нашему удивлению Коган отказался. Я пытался расспросить его о причине отказа. Он рассеянно посмотрел на меня.

— Ну, лагерь, товарищи,— медленно и с трудом сказал он и вдруг, захохотав, отошел.

Хин уговорил его и пианиста Бродова устроить трио: пианино, виолончель и скрипку. Коган долго ломался, но потом согласился, и трио осуществилось. Оно, впрочем, едва не погибло из-за ссоры Когана с Бродовым. Бродова прозвали у нас ассирийским человеком из-за оливкового лица, украшенного черной бородой в форме усеченной пирамиды. Он играл не плохо, но по дилетантски, и когда ошибался, Коган приходил в ярость.

— Я вижу, какой ты музыкант,— вопил он, размахивая скрипкой,— ты елка, а не музыкант. Вот смотри...

И он садился за пианино и, подпевая себе жестяным голосом, показывал, как нужно играть. Бродов обижался и отказывался от участия в трио, но Хин скорбным голосом упрашивал его, и он уступал. Трио в конце концов сыгралось и пользовалось у нас невиданным

успехом. Коганская скрипка звучала особенно хорошо, и Бродов, подымая ассирийскую бородку, косился на Когана удивленно и восторженно и уже не ошибался.

В концертах, кроме оркестра, трио и хора, выступали и лучшие лагерные певцы — Айзенберг, Берко Эпштейн и Сергеев. Айзенберг попал к нам в лагерь при трагических для него обстоятельствах. Он учился в Лейпцигской консерватории, потом переехал в Прагу, где его застала война. Голос у него был редкой красоты, профессора решили спасти его от лагеря и спасали целый год. Потом дело раскрылось, Айзенберга арестовали и под конвоем препроводили в лагерь для военнопленных. Его поместили в лучшем нашем бараке, где жили писаря, но каким ужасным должен был показаться этот черный, грязный барак с нарами и узенькими тюремными оконцами человеку, жившему на воле, в большом прекрасном городе!

Айзенберг приехал в хорошем сером костюме, в желтых ботинках, в мягкой, черной шляпе, с коричневым фибровым чемоданом. Он с испугом и отчаяньем смотрел на бараки, на часовых, на колючую проволоку, окружавшую лагерь, и мы, уже привыкшие к этой гадости, грязи, к вонючим уборным и часовым, теперь по-новому, его глазами увидели все это и почувствовали, как его тоска, его смятение охватывают нас. Мы старались всеми силами облегчить его участь, и, погрустив несколько дней, он свыкся с нами и с лагерем. Серый костюм отправился в фибровый чемодан, и Айзенберг оделся в костюм из бурой материи, сшитый для него Левитом.

И только дорогие желтые ботинки напоминали о маленьком человеческом счастье, разбитом походя.

Ведь Айзенберг был только маленькой пешкой, и судьба его была еще относительно легка — сколько других, куда более суровых и жестоких крушений знали мы!

Товарищем Айзенберга по выступлениям в концертах был Берко Эпштейн. Совсем небольшого роста, хотя широкий и коренастый, он обладал огромным и красивым баритоном. Маленький рост был беркиным несчастьем. Из-за него он не мог попасть в оперу, из-за него его не любили женщины. Длинный Коган, друживший с Берко, подшучивал над ним следующим образом. Он притворялся, что хочет обнять Берко, но его руки смыкались на беркиной головой, и Коган смотрел вниз и говорил:

— Ну, почему же ты сползаешь вниз? — и громко хохотал.

Берко любил петь куплеты тореадора, арии Валентина и Демона и знал много романсов. В лагере он пользовался большим успехом. Глубокие страсти бороздили его львиное мясистое лицо, и черные круги оттеняли запавшие глаза. Он не ходил с нами на прогулку с тех пор, как одна чешка, к которой он полез с ласками, со смехом подала ему стул и посоветовала встать на него, иначе он не достанет до ее губ. Эта издевательская шутка глубоко оскорбила Эпштейна. Он замкнулся в себе и только в пении отводил душу. Он стал часто петь «Сижу за решеткой в темнице сырой» и исполнял эту песню с

такой силой и тоской, что при каждом выступлении ему приходилось петь ее по нескольку раз.

Раз как-то по инициативе и просьбе Вегера Эпштейн и Айзенберг должны были в костюмах исполнить сцену из «Жидовки». Репетиции шли хорошо, но когда наш театральный портной Арсеньев принес для Эпштейна костюм кардинала, все пошло прахом. В красной кардинальской мантии Берко стал похож на гнома, и когда его массивная фигурка показалась на сцене, неудержимый хохот охватил всех присутствовавших на репетиции. Берко, обезумев от горя, стыда и гнева, швырнул мантию на пол и, диким голосом закричав:— Издеваетесь, сволочи, над несчастием человеческим, издеваетесь,— убежал из театра. Два дня его нельзя было нигде найти, и мы стали уже серьезно беспокоиться о нем, когда Берко вдруг отыскался. Оказалось, что он скрывался в госпитале, в венерическом бараке у работавшего там фельдшера, своего земляка. Больших трудов стоило уговорить Берко, что никто не думал над ним смеяться. Все же больше недели после этого случая он совсем не пел. Сапожник Аронов, специалист по ортопедической обуви, влюбленный в беркино пение, предлагал ему сшить особые ботинки на трехвершковой подошве и на таких же каблуках. Берко с горечью отверг проект. Он не хотел быть смешным.

Театр в нашем лагере зародился не сразу. Сначала спектакли носили партизанский характер и давались в жилых бараках, тут же на нарах, отгороженных шине-

лями и одеялами. На эти спектакли, жалкие и безграмотные для постороннего человека с воли, мы смотрели с восторгом и с глубочайшим интересом. Трудно передать, сколько счастия давало нам это подобие искусства, первая возможность посмотреть нечто, что казалось нам благородными отзвуками иного, свободного мира. Мы сильно и чудесно переживали все, что происходило на сцене, и ни грубые буцы, торчавшие из-под юбок актеров, игравших женщин, ни сквернейший грим и почти полное отсутствие декораций не мешали нам. Во время спектакля все щели и проходы барака были забиты людьми. Пленные взгромождались в несколько ярусов, душили друг друга, держались, балансируя на одной ноге, и все же смотрели пьесу.

Через несколько месяцев австрийцы отвели для театра специальный барак и там построили сцену. Павчинский, наш художник, нарисовал занавес, изображавший Тверской бульвар у памятника Пушкину, и несколько декораций, был куплен скромный реквизит, и у нас завелся, таким образом, настоящий театр. Сначала ставили веселые украинские комедии с гопаками и пением и суровые трагедии из времен Запорожья, изображавшие битвы казаков с турками, их плен и муки и героическое бегство из плена,— мотивы, глубоко трогавшие и волновавшие пленных. Вообще по свежести и непосредственности переживаний такой аудитории не имел, вероятно, ни один театр в мире. Люди выпивали с невообразимой жадностью все представление, они не отрываясь смотрели на сцену и тяжело вздыхали, когда все кончалось.

Скоро пришлось ввести плату за вход, иначе нельзя было окупить необходимых расходов, и вот пленные отказывались от табака, от хлеба, от самых необходимых для них вещей, но шли в театр. Среди них выискались талантливые актеры. Тяга к актерству была очень велика. В театральное правление приходили люди с застенчивыми, сконфуженными лицами предлагать свои услуги. Они не искали выгоды, так как актерам не платили, от работ их не освобождали, и в то время, когда другие пленные могли отдыхать, они должны были тратить время на длительные и трудные репетиции. Играть же зимой было настоящим героизмом. В театре по ходу действий актеры должны были быть в легких бутафорских костюмах и мерзли страшно. Но шли на все, и жажда играть была не меньше, чем жажда смотреть спектакли. И бывало, что перед спектаклем (а приходили за час до начала) почти каждый, приходящий в театр, приносил какую-то щепочку, дощечку или горсть еловых шишек, чтобы было чем протопить в актерской уборной.

Перед сценой была устроена яма для оркестра, а за оркестром шли места,— деревянные длинные скамейки без спинок, державшиеся на столбах, вкопанных в землю. Стены театра были украшены еловыми ветвями и лентами. Земляной пол был всегда чисто выметен, и пленные, неряшливые в своих бараках, в театре вели себя прекрасно, не сорили и не курили.

В числе людей, объединившихся вокруг театра, были актеры-профессионалы, и они вместе с нашими лучшими

общественниками образовали театральное общество. Председателем общества долго был Казанский, молодой киевский актер, очень красивый человек, но со вставными зубами. Он был у нас бесспорным премьером, играл и режиссировал и в нашем театре, надо полагать, занимал лучшее положение, чем в киевском, где он был на вторых ролях. По амплуа он был комик-простак, но, как часто бывает у актеров, считал, что его настоящее призвание — герой-неврастеник, и играл у нас Глуховцева в пьесе «Дни нашей жизни». Но лучше всего удавался ему Аркашка-Счастливцев в «Лесе».

В Миловицах во время пьянки Казанский потерял свои вставные зубы и стал совершенно неузнаваем. Щеки у него впали, он стал сюсюкать и говорить так неясно, что не мог играть. Из самолюбия он не признавался, в чем дело, пока его не выдал Феодоров, его сосед по койке. Казанский стеснялся своих вставных зубов и ночью тайком прятал стакан с водой, в который он клал зубы, в отверстие над своими нарами. Феодоров неоднократно видел это, но думал, что Казанский просто ставит воду на ночь, и однажды, томимый жаждой, захотел выпить эту воду. Он испугался, когда лежащие в стакане зубы лязгнули о стекло, нащупал их пальцами, но не сказал Казанскому, что знает его тайну. Феодоров рассказал правленцам, почему не играет Казанский, и правление театрального общества решило заказать из своих средств Казанскому новую челюсть. Казанский воскрес. Голос его опять стал уверенным и обрел свои бархатные баритональные ноты.

Казанский соперничал с Карлесом, тоже актером-профессионалом, героем-любовником, и оба они завели за кулисами обычную театральную склоку, подсиживая друг друга и выдвигая своих сторонников. К счастью, их соперничество не повредило делу, так как в подавляющем большинстве наши актеры любили театр крепкой, здоровой любовью и не принимали участия в склоке.

Театр уже ставил большие пьесы, в репертуар были включены «Лес», «Гроза», «Дни нашей жизни». Для исполнения женских ролей выбирались самые женственные из пленных, и двое из них настолько свыклись со своими новыми ролями, что незнакомый человек, видя их на сцене, никогда не узнал бы в них мужчин.

Один из этих двоих, Гольдштейн, был мал и худ, но с широким женским тазом. Однако, бородка и бакенбарды придавали ему мужественный вид. Его женственность угадал Казанский, и Гольдштейн, сбрив бороду и бакенбарды, оказался на редкость удачной женщиной. При игре ему совсем не пришлось менять своего голоса — тоненького фальцета. Казанский долго работал с ним, у Гольдштейна оказались способности к сцене, и из него получилась прекрасная Оль-Оль в «Днях нашей жизни». Он совсем вошел в свою роль, и понемногу женское начало стало заметно преобладать в нем. Он ходил покачиваясь, мелкой походкой, и совсем по-женски выставлял грудь. Но, поиграв в театре больше года, он вдруг решительно отказался от женских ролей. Он признавался кому-то из своих друзей, что стал испытывать какое-то противоестественное чувство,

как будто в нем боролись два начала — мужское и женское. Однажды во-время спектакля его застали в актерской уборной. Он стоял, высоко подняв платье (он играл Оль-Оль), и внимательно разглядывал свои стройные ноги в туфельках на высоких каблуках, затянутые в тонкие, телесного цвета чулки.

Увидев, что вошли, он покраснел, смутился и поспешно опустил платье.

Другой женщиной был Зинченко, прыщеватый и очень женственный парень, с ритмичной утиной походкой. Зинченко играл хуже Гольдштейна, но был естественнее его в женских ролях и видимо играл, не насилуя себя. Он держал себя кокетливо, играя, пудрился и красил губы и иногда даже заговаривался. Говорил «я сказала, я была, я хотела», и когда его поправляли, делал презрительную гримасу. Он был совсем пустой и неприятный человек, в России пел в синодальном хоре и там вероятно научился разным неприятным вещам. Он был в подозрительной близости с Кумасовым, богатым армянином, часто получавшим посылки и деньги. Они ночевали вместе в отдельном помещении в госпитале у фельдшера «Папаши», собутыльника Кумасова, и про них в лагере говорили нехорошо

Третьей постоянной женщиной был Шилянский, ловкий и стройный паренек из Полтавы. Но он не играл женских ролей — этому мешал его баритон, он только танцовал в женском платье. Лучшим танцором считался Либерман, опереточный провинциальный актер. Сухой, костистый, со щучьим лицом, он танцовал замечательно

хорошо. Из Шилянского он сделал себе партнера, он обучал его долго и в конце концов добился своего. Они танцовали танго, кек-у-ок, мазурку, русскую и другие танцы, и их номера считались у нас самыми боевыми и пользовались крупнейшим успехом.

Либерман сделался лагерным танцмейстером. Предприимчивый и деловой, он открыл школу танцев. Тогда в лагере были пустые бараки, и он с согласия Ловика устроил в одном из них свой танц-класс. Он нанял двух музыкантов из оркестра, они играли во время уроков, и дела его сразу пошли хорошо. Учиться танцовать начали десятки людей, из тех, что не нуждались в деньгах. На плотно убитой земле барака они старательно выделывали па, буцы и сапоги топали гулко, ноги в бурых бумажных штанах выкидывали пируэты, а по бараку плавно носился костистый Либерман и монотонно выкрикивал:

— Раз, два, раз, два... Шпильман, соблюдайте такт, мягче, мягче, Зинченко, ведь вы дама, не забудьте. Афонин, не выгибайтесь так. Нежнее держите свою даму. Теперь, внимание, вальс-менуэт. Показываю вам па, вот смотрите... раз... два... три... пауза... опять... раз... два... три... пауза. Музыканты, прошу... кавалеры, engagez vos dames, раз, два, три...

Зрелище было смешное и дикое, напоминавшее сцену из Вампуки. Арестанты, люди из плена, бывшие на войне, с увлечением и радостью учились вальсам, польке и мазурке. Успех либермановской школы быстро рос, у него появились самые неожиданные ученики: Левит, Мухин

и Козеев. Они приходили не в общие часы, а отдельно от других, даже тайно. У каждого из них были свои цели. Левит хотел танцовать на вечеринках у своей чешки. Он страдал оттого, что она танцовала с другими, и, кроме того, ему казалось, что всякий порядочный человек должен уметь танцовать.

У Козеева была тайная мечта стать офицером. Он слыхал о том, что многие из его товарищей фельдфебелей уже произведены в прапорщики, и считал, что и его по возвращении в Россию должны произвести. Офицер же, по его мнению, должен был уметь танцовать. Мучился он ужасно, но ничего у него не выходило. Тогда Либерман стал учить его по разделениям, как учат солдат маршировке и приемам, и Козеев с тупым решительным лицом танцовал польку и вальс, делая выдержки между па и считая вслух: раз — постой, два, раз — постой, два...

Иконописец Мухин учился поздними вечерами, закляв Либермана не выдавать его. Бог весть для чего ему нужны были танцы. Но танцовал он стремительно и с исступлением, как пляшут хлысты: подпрыгивал, притоптывал и вскрикивал, на губах у него проступали пузырьки пены, и раз в опьянении танца он рассказал Либерману, что ему страшно нравится, как танцуют в публичных домах в России, и что он, вернувшись из плена, обязательно будет там танцовать.

Наш барак был расположен в верхней части лагеря. В той его половине, что примыкала к опушке нагорного

леса, через узенькие окна барака виднелись стволы сосен и белые пятна просек. Наша маленькая группа, державшаяся вместе еще в Липнике, под властью сурового оберста, и теперь собралась вместе. По одну сторону от меня расположился Васька Шубин, веселый дицинский фельдшер с балалайкой, пронесенной им сквозь все беды и невзгоды фронта и плена, по другую — Исай Турнер, один из лучших и милейших людей лагеря.

В Миловицах мы обживались не сразу, многое казалось нам тут плохим и унизительным, и нищета и грязь, царившие среди всей массы наших товарищей, действовали на нас тяжело и скверно. Дни проходили медленно и бесцельно, мы подолгу лежали на смятых своих тюфяках. Иногда нас гоняли на работу, и как ни трудна она была — все же это было лучше, чем оставаться в бараках, изнывая от тоски, голода и безделья. Гулять ходили на длинную аллею, в нижнюю часть лагеря, примыкавшую к дороге. Дорога вела к большой чешской деревне, ее белые и красные черепичные крыши виднелись за километр от лагеря. По дороге проходили и проезжали «вольные» люди — люди в штатском, и мы с удовольствием смотрели на них. Особенно приятно было смотреть на женщин, мы переглядывались с ними и читали сочувствие в их лицах, обращенных к колючей проволоке, отделявшей их от нас.

Тогда была весна,— из леса тянуло на нас запахами смолы и свежей травы, только что прилетевшие ласточки носились между бараками и лепили гнезда под их кры-

шами, и воздух синими потоками плескался над нами. Весна усиливала нашу тоску и томление, она делала нас беспокойными, и мы бродили, как звери в загоне, и инстинктивно подходили ближе к проволоке, отделявшей нас от воли.

Вечером Васька Шубин долго играл на балалайке, он пытался развеселить нас, зубы его сверкали, и курносое лицо смеялось. Подошел и Штейнер, уже немолодой человек, с седеющей бородкой. Лицо его было бледно и измучено, углы губ устало опущены. Все мы знали его историю. На войну его взяли за два месяца до срока, когда он должен был бы выйти в ополчение. Вместе с ним взяли и его брата, двадцатидвухлетнего юношу, которому он, старый холостяк, заменял отца. Они были в одном полку, в одной роте, и Штейнер все время мучился от страха, что брата могут убить на его глазах. Так почти и случилось. Брат был тяжело ранен, Штейнер остался возле него, и оба попали в плен. Там их разлучили. Штейнера отправили в наш лагерь, а его брата оставили в каком-то госпитале в Галиции. С тех пор прошло уже около полугода, и он, несмотря на непрерывные запросы, до сих пор ничего не знал о судьбе брата.

Теперь он стоял, опираясь на балку, и слушал васькину игру. Слабая улыбка прошла по его лицу, когда Шубин, лихо перебрав струны, завертел балалайку между пальцами и, ударив ладонью о деку, прервал игру. Я предложил Штейнеру сыграть в шахматы, единственное развлечение, которое, кажется, было способно оторвать

его от тяжелых мыслей. Мы сели за доску. Штейнер обычно начинал плохо, но в середине игры комбинировал очень удачно. Но нам не пришлось кончить партии. Сильный шум послышался у двери барака, и, пошатываясь, подвигаясь, как всегда, боком, вошел грек Юра. За ним поспевал вечный его спутник — австриец, чрезвычайно возбужденный. Он о чем-то просил Юру, но Юра, отталкивая его левой рукой, правой размахивал мешком с провизией.

Дело скоро разъяснилось. Юра купил гуся и масло для обер-лейтенанта Вегера, но, напившись, решил все съесть сам. Он влез за нары, предварительно зашвырнув туда мешок, сел на краю, свесив ноги, и слушал австрийца.

— Послухай, Пепичку,— сказал он тихим и вялым голосом, неожиданным при его пьяном буйстве,— скажи лейтенанту, что у Юры сегодня праздник и что Юра сам съест его гуску.

Он откинулся на свой тюфяк и диким голосом заорал:

— Маслины, почему нет маслин в этой проклятой стране? Тетя Хоня, дайте же маслин бедному греку...

Он икнул и потух. Услужливые руки уложили его, стянули с него сапоги. По лесенке на нары вскарабкался Михаил Исаич, старший кухарь, бывший княжеский повар, опытнейший в своем деле человек, к услугам которого всегда прибегали лагерные богачи, когда устраивали пирушки.

— Исаич,— нежно сказал Юра,— ты должен спасти

меня от тоски и унизительности. Сжарь мне гуску, Исаич, и я съем ее, я — Юра, а не пан обер-лейтенант Вегер. Будет ему жрать юриных гусей,— вдруг завопил он.— Откажусь... Кто тогда достанет? Кто? Кто?— и он, всхлипывая, упал на подушку.

Исаич унес гуся, и Юра, достав из заднего кармана плоскую фляжку, стал пить. Запах рома разносился вокруг, и многие жадно вдыхали его. Юра никому не предлагал, он сопел и пил один, вскрикивал, говорил что-то сам с собой и опять затихал. Гуся ему принесли поздно вечером на сковороде, и он, схватив его за лапы и обжигаясь, стал есть без хлеба. Его место было рядом со Штейнером, и, бросив в сторону недоеденного гуся (чьи-то руки протянулись снизу и сцапали гуся), Юра наклонился к Штейнеру.

— Не спите,— пробормотал он, и я слышал, как тяжело он сопел,— все тоскуете по братике вашем милом? Найдется братик, не бойтесь...

Штейнер не отвечал, и Юра предложил ему рому. К моему удивлению Штейнер, никогда не пивший, не отказался, слышно было, как стучал край фляжки о стакан.

— Вот,— сказал Юра, и голос его прозвучал тихо и печально,— вот, бывают у человека такие минуты, когда человеку хочется утопиться или зарезаться, и что тогда, ответьте, остается делать?

И торжественно помолчав, сам себе ответил:

— Тогда пьют, бунтуют всем телом и горячей душой и рассказывают другому человеку о своей хоробе.

Он сделал паузу, видимо, думая, и продолжал:

— Моя мать меня не любит и даже прокляла за самое ужасное, но все же полезное дело. Моя мать добрая женщина и много страдала от отца. Он лупил ее свежей рыбой по щекам и по голове — это была любимая радость у старого зверя.

Юра застонал, выпил и продолжал:

— Отец был рыбак, совсем засмоленный человек, одни кости и жилы, и когда он бил маму рыбой, мама молчала. Она молчала и падала и совсем не испускала звуков. Он бил ее год и два и десять лет, пока я не вырос и не сказал ему:

— Папа, не бейте маму свежей рыбой и вообще не трогайте ее.

Тогда этот старый грек, не тратя слов, ударил меня в дых и повалил. Я ему ничего не сказал тогда и ждал, что же будет дальше? И через три дня он опять бил маму свежей рыбой, и она молчала и падала. Я тогда пошел в погреб и стал рыть яму. У нас был глубокий погреб с ходом через дворик, и в погребе стояло вино. В углу всегда осыпалась земля, потому что потолок не был закреплен, и там я рыл яму. Вечером отец пошел в погреб за вином, и я взял секачку и пошел за ним. Он спросил меня, зачем я туда пришел, он поднял свечку, посветил мне в лицо и даже сказал:

— Ой, Юра...

Но мне было противно говорить с ним, и я сразу посек его. Голова у него была мягкая, как у медузы, и он только подрыгался минуту и умер. Яму я вырыл глубокую, на три аршина, свалил его на дно, засыпал

и затоптал землю сапогами, чтобы не было духа. Потом я ходил по вечерам и нюхал, не начал ли старик вонять. Год никто ничего не знал, а потом меня взяли в солдаты. Утром я должен был ехать в Севастополь, оставалась одна только ночь, и я тогда все рассказал маме. Она прокляла меня и сказала, что хорошо, что я ухожу в солдаты. Все же она спекла мне на дорогу коржики и пожарила курицу.

Рассказ прервался. Слышно было только сопение Юры. Скоро он захрапел. Штейнер ни разу не подавал голоса. Нельзя было понять, слушал ли он рассказ Юры, или спал.

Утром, несмотря на огромные размеры барака, душная вонь спирала воздух. Едкий запах человеческих испарений, грязных онучей, одежд (все спали не раздеваясь), махорки и ядовитого австрийского табака по восемь геллеров пачка не давали свободно вздохнуть. Вставали пленные угрюмо и неохотно. День сулил мало радостей, и сейчас же после чая старшие уже строили взводы и роты на работу.

Работа была разная. Те, кто не были заняты в мастерских или в канцеляриях, отправлялись на очистку лагеря и уборных, на починку дорог, на постройки и так далее. Производительность этих работ была очень невелика, люди работали вяло и неохотно, потому что не были ничем заинтересованы и отбывали лишь тяжелую повинность. Но стоило их хоть немного заинтересовать и назначить самую незначительную премию,

как их нельзя было узнать, и они работали с энергией и охотой. Фунт хлеба или четырехкопеечная пачка табаку были для многих пленных целым богатством, так как, ничего не зарабатывая и не получая денег и посылок из дому (а таких у нас были тысячи), они медленно и мучительно умирали от истощения. Ежедневно длинные вереницы их шли в околоток на прием, и, когда началась эпидемия тифа, госпиталь переполнился до такой степени, что больных клали в проходах, спешно открывались новые бараки, и все же мест нехватало,

Самой скверной работой считалась очистка уборных. На нее никто не шел добровольно, приходилось назначать людей под страхом наказания и в порядке очереди. Потом уже образовалась артель уборщиков, получавших повышенный паек. В целях экономии или по небрежности выгребные ямы вычищались только тогда, когда наполнялись до самых краев, причем способ очистки был самый варварский: черпалками на длинных ручках нечистоты сливались в бочку. Вонь при этом распространялась совершенно невыносимая, и на двести метров в окружности нельзя было пройти. Уборщики работали, повязав тряпками рты и носы. Потом товарищи гнали их из барака, потому что вонь проедала уборщиков насквозь, и нельзя было ее ничем уничтожить. В конце концов для них пришлось отвести отдельное помещение. В их артель шли самые парии — нищие и отчаявшиеся люди, прельщенные добавочным питанием, предоставленным им за их тяжелый труд. Их начальником сделался Михеев, единственный человек, добровольно пошедший

на это дело. Мутно-розовые широкие угри проступали на коже его лица, как отмели на воде. На голове у него был колтун, волосы слиплись в один ком, но глаза были хорошие,— серые, с живой, ласковой искрой, и под желтыми усами губы краснели, как ломтики спелого арбуза.

Михеев явился в канцелярию, сказал, что он работал по очистке выгребных ям и хочет заняться своей специальностью. Его, конечно, взяли с радостью, сочтя за дурака, идущего на поганую работу, с которой все бегут. Но он спокойно делал свое дело и скоро добился усовершенствования в нем: вместо черпалок он через австрийцев достал насосы и толстые брезентовые рукава, по которым нечистоты перекачивались в закрытые бочки. Сначала в лагере над ним издевались, звали вольноопределяющимся г....возом,— но Михеев, не обижаясь, внимательно глядел на всех благожелательными глазами и улыбался. От него отстали и даже стали уважать. И не сходясь с ним, можно было увидеть, что в этом человеке есть какая-то уверенность в себе, равнодушие к чужим насмешкам и скрытая сила.

Из лагерей часто брали пленных на работу в окрестные деревни и в город. Пленные любили эту работу, потому что веселее было на людях, можно было перекинуться несколькими словами с женщинами, побродить по дворам и кое-что выпросить или выменять у чехов. В обед гоняли обратно в лагерь за три-четыре километра, а после обеда опять гнали на работу. К вечеру голод у людей обострялся и мучил особенно сильно, и они

становились отчаяннее и предприимчивее. Набрасывались на каждого прохожего чеха или чешку, вымаливали кусочек хлеба или «брамборы» (картошку), тащили то, что плохо лежало, и когда часовые били их прикладами, бежали, как шакалы, трусливой рысью, в своем унижении не смея даже ругаться, а только угодливо посмеиваясь.

Вечером по баракам зажигались маленькие фонарики и керосиновые коптилки, пленные собирались группами, чинили белье и одежду, разговаривали о войне, о своих деревнях и делились тем, что узнали за день. В каждом лагере непременно создавалась легенда о солдате, будто бы спрятавшем знамя на груди и с ним попавшем в плен. Австрийцы якобы искали этого солдата, делали повальные обыски, но найти знамя им не удавалось. Иногда даже с таинственным видом указывали на такого хранителя знамени. Уборщики нечистот, может быть стараясь восстановить свое попранное человеческое достоинство, утверждали, что знамя хранится у Михеева, и им верили. Говорили даже, что Михеев нарочно ушел в такое поганое дело, чтобы его поменьше тревожили австрийцы.

Потом хвастливый Юра-грек стал тихонько распространять слухи, что знамя спрятано у него, и говорили даже, будто Юра показывал знамя верным людям. Во всяком случае Козеев тайно ходил к нему и, подпоив его, пытался откупить знамя. Он рассчитывал, вероятно, отличиться, привезя знамя в Россию. Потом выяснилось, что у Юры нет никакого знамени, а тайна Михеева осталась нераскрытой.

Любили еще говорить о скрытой у пленных полковой казне, о важных каких-то печатях и о многом другом. Однако со временем все эти разговоры выцвели и завяли, и редко кто-нибудь говорил о знаменах, о боях и подвигах. Говорили о пище, о том, как жилось дома в России, и гадали о сроках окончания войны. Как в ротах бывали любимые песенники, так и в бараках были свои рассказчики, откуда-то осведомлявшиеся о ходе дел. Пленные им верили и охотно их слушали. Эти рассказчики имели свои собственные, часто очень оригинальные суждения и свои сведения выдавали за самые достоверные.

В то утро что-то особое чувствовалось в лагере. Из Лисы и ближайших сел доносился тихий, погребальный звон колоколов, австрийские врачи и офицеры явились в парадных мундирах и казались очень озабоченными и беспокойными. На вопросы пленных австрийцы не отвечали, и их тревога передалась и нам. Наконец, мы узнали важную новость: скончался император Франц-Иосиф, восьмидесятишестилетний старик, современник Николая Палкина, человек, шестьдесят девять лет просидевший на троне и олицетворявший собой символ угнетения шестнадцати народов.

Чехи были очень сдержаны. Они не любили этого старика, неоднократно жестокой рукой душившего их стремления к автономии и независимости.

Смерть императора взбудоражила лагерь. Наши рассказчики решили, что теперь войне конец, так как на

старике все держалось. Фомин, чернобородый пленный, старообрядец, один из самых влиятельных наших рассказчиков, собрал вокруг себя много народу. Его жадно слушали, тесно сгрудившись вокруг него и просовывая поближе к нему головы.

— С месяц потерпим,— сурово говорил Фомин, навертывая на пальцы кольца смоляных волос своей бороды,— кончится теперь война... Старик был Адамов человек. Общество есть такое — Адамовы люди, альбо масоны. Ввял с него Вильгельм страшную клятву воевать до самой смерти, и не мог старик от своей клятвы отречься. Сказывают, что ездил он к нему незадолго до смерти. Освободи, просил, от Адамовой клятвы, погибает совсем у меня народ, а тот как крикнет: клялся, говорит, и держись. Так без всего старик и отъехал...

Чей-то неуверенный голос выразил догадку, что может быть старик умер не просто, может быть он своей смертью хотел народ от войны освободить, и Фомин, как будто что-то скрывая, неохотно ответил:

— Про то может и знают, да не сказывают.

Смерть императора, конечно, ничего не изменила. Бесхарактерный его племянник Карл, по своей молодости и неопытности, был еще больше подчинен Германии и Вильгельму, чем его дядя. Старая династия Габсбургов, династия хищников и дегенератов, перед своим падением вручила власть одному из самых ничтожных своих представителей. И ему было суждено видеть бесславный конец двуединой монархии.

Угнетение — плохой цемент для спайки народов и стран,

и скрепы огромной империи разошлись просто и легко. А пока на марках и бумажных деньгах вместо обрюзгшего и сонного лица Франца-Иосифа, окаймленного бакенбардами, появился гусарский профиль Карла — одно клише заменили другим, и огромная машина истории продолжала допечатывать последние оттиски прекращающегося издания — последние дни издыхающей австро-венгерской монархии.

Наша группа сильно поредела — уехал в Штирию на два месяца Исай Турнер, угнетенный лагерем, а вслед за ним оставил свое место и Васька Шубин. Он давно уже работал в лагерном околотке, давал там мази и порошки, делал перевязки больным, а теперь упросил старшего врача перевести его жить в госпиталь. Там ему должно было быть лучше. В небольшой комнате при госпитальном бараке помещалось всего четыре человека, и у каждого из них была отдельная койка. Собирался уходить к писарям и Штейнер, невыразимо тосковавший по своем брате и все ждавший вести о нем. Нервность его и беспокойство принимали угрожающие размеры. Он часто переставал владеть собой, как бы забывал себя, и тогда с ним делались странные вещи. Тело уходило из его власти, его руки болтались или висели бесцельно и безжизненно, глаза проваливались и тускнели и бессильно отваливалась нижняя челюсть.

Он был милый и мягкий человек, в лагере его любили и относились к нему чутко и сочувственно. Он доживал у нас в бараке последний день — завтра он должен был

перейти к писарям, он уже приготовил свои вещи и после обеда лег отдохнуть. В бараке было тихо, там было мало народу, и почти все спали, когда я услышал осторожные шаги. Внизу у наших нар стоял черный Леня — писарь из лагерной канцелярии, бухгалтер по профессии, земляк и товарищ Штейнера — и заглядывал к нам. Он взялся руками за лесенку, чтобы подняться наверх, но раздумал, растерянно посмотрел на меня и кивнул головой на Штейнера. Штейнер быстро сел, хотя, казалось, он спал. Он взял Леню за плечи и, не давая ему влезть на нары, смотрел на него, и лицо его дергалось, и губы прыгали. И Леня, потянувшись к нему, поцеловал его и достал из грудного кармана белый казенный конверт с красным крестом. У Штейнера вдруг окрепли движения, он спокойно взял пакет, достал бумагу из конверта и стал читать. Прочел, провел рукой по волосам и посмотрел на нас. Лицо его принимало успокоенное выражение, какое-то облегчение читалось в нем. Он лег и так пролежал до самой ночи. Мы боялись за него, ночью я встал и наклонился к нему. Он протянул руку и погладил меня.

— Ничего,— сказал он,— ничего... Даже легче, скажу вам, даже легче.— И вдруг заплакал лающим и придушенным мужским плачем и, плача, говорил:

— Мальчик, знаете, как сын... дорогой, любимый... Я на семнадцать лет старше. Он в три года болел дифтеритом. Мучился, а я возмущался, почему маленькому такие страдания? Почему я не могу взять на себя его болезнь? И вот его на моих глазах убивают. Он

падает, я его несу... Понимаете, осколок шрапнели, весь живот разворочен... И он боится стонать, чтобы не огорчить меня. Потом его увезли. И вот — умер... пять месяцев, как умер... И конец, хорошо, что конец...

Он затих, но тело его дрожало мелкой дрожью, руки ходили, как шатуны, и так всю ночь. Васька Шубин принес ему из околотка большую дозу опия, но опий не взял Штейнера. Только утром он затих и пролежал весь день.

А еще через день он стал работать.

В лагере разбили маленькие скверики и клумбы. Копать землю и сажать цветы — мы все это делали под руководством Власова, опытного садовода — было для нас большой радостью. Мы будто сеяли новую жизнь и с наслаждением разворачивали каштановую жирную землю и осторожно укладывали в нее крошечные семена. Было трудно дождаться, пока взойдут первые ростки, и Власов посмеивался над нами и успокаивал нас. Наконец, выросла трава, а затем распустились цветы. Тут были гвоздики, розовые, белые и темно-красные, хвостатые пахучие настурции, оранжевые, как апельсины, табак — белый и одуряющий к вечеру, желтые и синие астры и розы, маленькие бутончики которых долго не могли распуститься. Нам казалось, что весь наш лагерь преобразовался оттого, что в нем появились цветы. Все свободное время мы отдавали им. Их вид радовал нас, и их запах (или так казалось?) очистил и

облагородил воздух лагеря. Мы не осмеливались их рвать, они были для нас высшим проявлением другой жизни, и однажды, когда Власов сорвал целый букет, поставил его в котелок с водой и, искусно задрапировав котелок зеленью, пронес в барак, мы были глубоко потрясены. Казалось, что наши грязные тюфяки и почерневшие нары стали выглядеть по-новому. Цветами мы украсили и наш театр, и библиотеку, и клуб, и сейчас, вспоминая те дни, я чувствую все еще странное и прекрасное волнение, сладкий холодок, представляя себе лагерные цветы,— кучки чудесных созданий, выросших среди черных бараков, среди колючей проволоки, среди отверженных людей, какими были пленные.

Лагерная библиотека началась с малого. Турнер, имевший несколько книг, стал давать их читать по баракам, а потом устроил полочку, выпросил книги у товарищей и завел запись читающих. Тогда в лагере организовался клуб, в клубе поставили книжный шкаф, и библиотека стала быстро расти. Спрос на книги был очень большой, пленные обратились к шведским благотворителям за помощью, и те, действительно, прислали кучу книг, где вместе с классиками были и сочинения Марлинского и Загоскина и между ними пушкинский «Современник» за 1835-й, кажется, год. Читали в лагере много и все, что попадалось. И часто случалось, что, плохо разбираясь в прочитанном, солдаты приходили за объяснениями в библиотеку, рассаживались на длинных,

скамьях и ждали ответов на свои вопросы. С ними вели беседы наиболее культурные и образованные из пленных, и скоро эти беседы перешли в регулярные лекции и уроки. Так постепенно создалась лагерная школа.

Широкая масса пленных, потрясенная всем виденным на войне и в плену, познакомившаяся с жизнью и обычаями чужой страны, перенесшая все притеснения царского строя, усомнилась во многом, во что она непоколебимо верила прежде. Потребность в новых знаниях проявлялась стихийно, и немолодые уже, бородатые люди приходили расспрашивать о вещах и порядках, неведомых им доселе. Замечательно было, что все вопросы начинались с войны. Пленные допытывались о ее причинах (прежде эти причины казались им ясными — немцы напали на Россию, и царь позвал на защиту родины) и происхождении, потом переходили на вопросы о земле и в конце концов просили научить их грамоте.

Школа у нас образовалась совершенно своеобразная и пестрая, и одни и те же люди учились азбуке и слушали лекции по истории, географии (любимые предметы пленных), естествознанию, садоводству и арифметике.

Работать в нашей школе было не легко, но зато в высшей степени интересно. В большинстве ученики ничего не слышали о пяти частях света, об океанах, о том, что земля кругла и вертится вокруг солнца, и глобус вызывал у них глубочайшее удивление. Они не имели понятия об истории своей родной страны, или

имели о ней превратное, лубочное представление. Иногда, пораженные тем, что они узнали, и не веря этому, они пытались вступить в спор, отстаивая свою наивную веру, но охотно давали себя переубедить, и косность их разрушалась легко. Оторванные от родины и обычного уклада жизни, они становились любознательны и восприимчивы. Все это, главным образом, относилось к крестьянам, так как многие из рабочих по своему политическому развитию были значительно выше интеллигентов и лучше их разбирались в созданной войной обстановке.

В то время, в тысяча девятьсот шестнадцатом году, патриотизм и желание победы своим почти целиком выветрились из сознания сотен тысяч пленных. Лагерные массы были заинтересованы только в близком окончании войны, и старые сказки о том, что между крестьянами будут делить немецкую землю, теперь не имели никакого успеха. Русские крестьяне узнали немецких, чешских и венгерских крестьян, они хорошо ознакомились с их бытом и нуждами, и никакой вражды не было у них к этим подневольным людям, жизнь которых так сильно напоминала им собственную жизнь. Уже тогда смутное сознание великих несправедливостей, учиненных над ними, и чудовищных обманов, при помощи которых их вовлекли в эту войну, начинало проявляться в них, и чем больше становились их страдания, тем лучше понимали они, что даже победоносная война ничего не может им дать. Среди них были способные и жадные к новым знаниям люди, которые занимались и работали

с ненасытной энергией. Помню Еремина, маленького и невидного калужского мужичка, вначале совсем неграмотного. Еремин был самым аккуратным посетителем лекций и бесед, которых он никогда не пропускал. Конфузясь и робея, он расспрашивал о многом, пока ему не предложили самому научиться читать книги. Он взялся за грамоту, но она не давалась ему. Он занимался вечерами (днем его гоняли на работу), и я видел, как он подолгу мучился над заучиванием букв. Я предложил ему другой способ обучения — читать вместе, и в несколько недель он научился хорошо читать. Радость его, когда он овладел тайнами грамоты, была такая буйная и неистовая, как у человека, открывшего новые, волшебные миры. Он читал все ночи, брал с собой книгу на работу и, кажется, никогда не расставался с нею. Ему особо полюбилась физика, и, несмотря на свою безграмотность и плохое развитие, он обнаружил к ней удивительные способности. За несколько месяцев он стал другим человеком.

— Ах ты, тьма наша,— в отчаянии говорил он, хватаясь за голову.— И подумать только, что все это от нас прятали... Когда же мы это все наверстаем?

Ему понравился в элементарном учебнике физики закон об одинаковом уровне жидкости в двух сообщающихся между собою сосудах, и он строил на нем свои оригинальные теории. Он говорил, что в деревню надо послать жить знающих и обученных людей, приобщить крестьян ко всем знаниям и наукам, и тогда они, в силу закона об одинаковом уровне жидкости в сообщающихся

сосудах, должны будут в короткий срок набраться от этих людей новых знаний. Еремин высчитывал, сколько крестьянского населения в России и сколько школ и деревенских университетов надо открыть в ближайшие годы, чтобы обучить всех крестьян. Мне никогда не приходилось встречать такую цельную и самобытную натуру, с такой энергией и целеустремленностью, как Еремин. После революции он сделался одним из лагерных вожаков, агитируя за мир, за землю, за всеобщее обучение крестьян.

Вечерами клуб всегда бывал забит людьми. Русских газет, то есть газет из России, у нас не было, но австрийское правительство издавало для пленных газету на русском языке, тенденциозно освещавшую жизнь военнопленных и дававшую специфическую военную информацию. Читать эту газету было очень неприятно, и пленные, хотя немного владевшие немецким языком, выписывали немецкие буржуазные газеты. Выписывать социал-демократическую Arbeiter Zeitung (Рабочую газету) нам не позволялось, хотя она проводила уже тогда шовинистическую политику.

Обычно телеграммы, сообщающие о военных действиях, читались вслух. Переводил их кто-нибудь из пленных, знающих немецкий язык, и чтение слушали с напряженным вниманием, а потом обсуждали события и перспективы войны. О своих генералах и офицерах солдаты говорили с недоверием, враждебностью и едкой иронией. (Куда уж им,— японскую войну прогадили и эту про-

дрызжут.— У нас большой генерал — большой вор, а генералу полковник в пятки смотрит: куды генерал с дивизией, туды и полковник с полком.— Генералу воевать легко — уложил дивизию да взял с бою тыл, тут тебе и чин.— Солдаты — скотинка, да из генералов пастухи херовые: так заведут в болото, что не вылезешь.)

Они не верили, что Россия может выиграть войну, так как собственными глазами видели расхлябанность и бездарность командования, видели, как разворовывался тыл, как пьянствовали и укрывались с позиций старшие офицеры и зря губились целые дивизии и даже армии. Они помнили время, когда нехватало винтовок, пулеметов, орудий и патронов и пополнения приходили в окопы совершенно безоружные и необученные — настоящее пушечное мясо. Весь позор, всю дряблость и ничтожность царского строя, его непригодность к большим делам, продажность его представителей они научились понимать на фронте, в окопах, платя за науку собственной жизнью.

Особенно людно бывало в клубе зимой. Холод сгонял сюда людей из нетопленных бараков, и они сидели тут до позднего вечера. Зима надвигалась на лагерь, как беспощадный враг, и ее наступление всегда означало для пленных новые беды и мучения. Бараки были построены плохо, и ветер и снег пробивались сквозь щели досок. На целый барак отпускалось несколько килограммов угля, его хватало едва на час, и остальное время люди мучительно мерзли. Они приходили с ра-

боты усталые и голодные, а в бараке нельзя было даже снять шинели и полежать расправившись. Сидели скорчившись, с окоченелыми пальцами, и ночью ощущение холода доводило до тошноты, до отчаяния.

Помню, как тяжело прошла первая зима. Мы ложились по нескольку человек вместе, причем лучшие места считались посредине, так как с обеих сторон грели тела соседей. И по утрам нельзя было вылезти из-под шинели. Все члены сводило, и казалось, будто все тело было обложено холодным железом.

Зимою заболевало больше половины всех пленных. Слабые, истощенные организмы не обнаруживали никакой стойкости в борьбе с болезнями. Самые пустяковые нарывы и раны не заживали целыми месяцами, легкие простуды превращались в длительные болезни. Особенно легко отмораживались ноги, обутые в рваные буцы и плохое тряпье. И утром старшие, вызывая людей на работу, обходили нары и смотрели на кучи бурого и серого тряпья, под которыми, сжавшись и поближе пригоняя каждый кусочек тела к другому — колени к животу, руки между колен, голову к плечам и к груди — лежали пленные. И если человек не вставал, не выходил на работу, старшие знали, что у него синие опухшие ноги, что кожа, как при водянке, лоснится, и если нажать на нее, то на месте нажима долго остается ямка. Иногда обмороженные конечности загнивали, гангрена пожирала их, и они вздувались, чернели, мясо сваливалось с костей и обнажало их.

Зимою в госпитале каждый день делались ампутации,

и на кладбище росли ряды безымянных, занумерованных крестов.

Лагерное кладбище вначале было совсем маленьким. Австрийцы отвели под него клочок поля у самой дороги в Лису и огородили его проволокой. В первый год плена кладбище заполнялось медленно, но когда начался тиф и в лагерь пригнали полузамерзших итальянцев, к кладбищу пришлось прирезать большой кусок земли, а затем еще один и еще...

Я обходил это грустное место в конце семнадцатого года, перед своим отъездом в Россию. Ряды белых крестов тянулись ровными, тихими шеренгами, и только кое-где их страшное однообразие прерывалось каменными надгробиями.

Вот памятник вольноопределяющемуся Белявскому, сгоревшему от тифа и от туберкулеза. Он принял смерть твердо, но с глубоким, скрытым отчаянием. Он встретил ее, как кощунство, совершавшееся над ним.

— Ну вот,— говорил он накануне смерти,— я говорю с вами, я живой, я чувствую, я читаю Пушкина — и все уйдет и исчезнет. Ужасно все это...

По его просьбе на памятнике вырезали пушкинскую строку, немного измененную им:

...Любовь
в его душе угасла не совсем...

Но я знаю, что такое смерть, и знаю, что осталась лишь надпись, а под нею в земле — хрупкие и темные человечьи кости, изглоданные червями.

А вот этот залитый цементом обелиск поставлен над тучным телом штабс-капитана Агронова, случайно попавшего в наш лагерь и там погибшего от перитонита. Как он боялся смерти, как не хотел умирать! Всего за час до смерти старший врач ободряюще похлопал его по жирному плечу и пообещал долгую жизнь, а выйдя в соседнюю комнату кивнул мне и шепнул:

— Гнед земржет (сейчас умрет)...

Вот под крестом за номером сорок два лежит Гусарченко, веселый кузнец из Белой церкви, широкогрудый великан. Он умер от холеры, он боролся долго и говорил усмехаясь:

— Ще побачим, як мине смерть визьме — ще подавится.

А через два дня его уже не было.

Рядом с Гусарченко покоится Шлема Часовщик, сапожник из Шклова. Он не хотел умирать в плену, он плакал все время и молча глядел на нас оленьими глазами. В Шклове у него осталась мать, жена и шестеро детей. Но его легкие были совсем изъедены туберкулезом, и вот его, правоверного еврея, положили под крестом, которого он боялся всю жизнь, так как такие кресты носили в его городе перед погромами впереди патриотических процессий.

Вот номер семнадцать,— на кресте еще остались засохшие цветы,— тут лежит Джугели, красавец грузин из Кутаиса, весь полный когда-то, как шампанским, кипучей жизнью, любимец окрестных чешек. Его съела

дизентерия, он растаял в несколько дней и лежа, пожелтевший, с острым как парус носом, он шептал:

— Ах, зачем болеть, ах, зачем умирать надо, когда не хочется.

Его похоронили, чешки плакали над могилой и покрыли ее цветами, и потом долго еще приходили на его имя письма из Кутаиса, так как никому не хотелось писать на его родину — быть вестником смерти.

На краю кладбища лежит Савельев — наш первый мертвец. Вместе с ним похоронили его ампутированную ногу — он умер после неудачной ампутации. Помню, каким грозным страхом повеяла на нас его смерть. Мы тогда еще не знали всех ужасов плена, мы надеялись, что, спокойно переждав здесь войну, вернемся на родину, и Савельев своею смертью первый напомнил нам, что многие из нас не вернутся домой. Его хоронили торжественно, сотни людей и оркестр провожали его в могилу, а потом мы привыкли к смерти своих товарищей, как привыкли к этому раньше на фронте, и многих проводили на кладбище. Оно росло на наших глазах, оно медленно, но неумолимо съедало наш лагерь и опустошало бараки, оно вытаскивало нас из наших жалких нор и то поодиночке, то целыми отрядами укладывало в узенькие земляные ящики.

Между лагерем и кладбищем шла неуемная борьба. И бывали дни, когда нам казалось, что кладбище победит. Это было во время эпидемии тифа, когда болезнь валила нас, как барабанный огонь на фронте, когда ежедневно на рассвете, чтобы не тревожить окрестного

населения, из лагеря выезжали телеги, в два яруса уставленные гробами. Гробы заливали известью и закапывали, а в полдень на кладбище приезжал из Миловиц чешский ксендз, брюхатенький человек с красными куриными глазками, неловко приклеенным к лицу длинным носом и с какой-то ернической добросовестностью прочитывал по-латыни над каждой могилой «Pater noster» и другие молитвы. За ним ходил чех Кашек, заведующий кладбищем, с длинной бумажкой и называл ему фамилии погребенных.

Две трети кладбища были заняты могилами наших товарищей, погибших от тифа. Их было очень много, этих могил, и они напоминали нам о самых страшных днях Миловицкого лагеря. Тогда вереницы людей с землистыми лицами ежедневно уводили из бараков в госпиталь. Уходя, они заботливо забирали свои узелки, все свое убогое барахло, а после их смерти санитары продавали это барахло в лагере.

... Печально наше кладбище, ни одной бодрой мысли не будит оно, и не украшает его даже и большой памятник, построенный на деньги, собранные пленными. Памятник открывали торжественно и пышно, сам генерал со всеми офицерами присутствовали при его освящении, пел хор, и даже произносились утешительные речи — но разве все это могло что-нибудь изменить? Разве не знали мы, что нам незачем было проходить через шрапнели, газы, колючую проволоку и волчьи ямы, чтобы в конечном счете попасть сюда, в лагерь военнопленных, и затем на это кладбище? Разве хоть

какое-нибудь утешение было для наших товарищей, умиравших здесь за чужое, враждебное им дело?

Ужасна такая смерть, и невеселые мысли вызывало наше кладбище.

Я обходил его могилы, я останавливался над белыми солдатскими крестами и читал двухзначные и трехзначные номера, я узнавал по ним и вспоминал живых людей, от которых ничего не осталось. Только сухие записи в лагерной канцелярии отмечали смерть военнопленных, но никто не прочтет их и не узнает, итоги скольких загубленных жизней заключали они.

И сейчас еще, вероятно, стоит это кладбище, окруженное колосящимися полями, на вечном параде вытянулись батальоны крестов, и командует парадом большой памятник посреди кладбища.

Проклятое это время, и нехорошо бывает человеку, пережившему его, когда он вспоминает его.

ИТАЛЬЯНЦЫ

Зимою в наш лагерь пригнали итальянцев. Их было больше тысячи человек, и все они были взяты в плен под Изонцо, в суровой горной местности, где окопами служили выбоины скал и узенькие ложбинки, размытые весенними потоками. Итальянцы прибыли к нам в ужасном состоянии — раздетые, без шинелей, в рваной обуви. По какому-то звериному равнодушию к людям и людским страданиям их везли на открытых платформах, на которых перевозят артиллерию и обозы. Шинели с них сняли еще на фронте, так как они (шинели) были того же защитного цвета, что и австрийские, и пошли австрийским солдатам. Итальянцы пришли по широкой мощеной дороге из Лисы, маленького городка с железнодорожной станцией. Они шли густой толпой, сгорбившись, с перекошенными лицами, поддерживая друг друга. Они совершенно закоченели, и многие из них были похожи на сумасшедших: безумные невидящие глаза, оскаленные зубы и дикие застывшие гримасы на искривленных губах.

Нам, русским пленным, жилось скверно. Мы ютились в бараках, построенных в одну доску, снег надувало в щели, и было холодно, как в погребе. Нас кормили вместо супа горячей грязной водой, в которой плавали лоскутья гнилых овощей, и вместо чая — настоем крапивы без сахара. Мы думали, что не могло быть людей несчастнее нас, но, увидев итальянцев, узнали, что нет предела человеческому горю и мучениям. Итальянцы прошли по всему лагерю к новым баракам, отстроенным совсем недавно и в которых еще никто не жил. Они бросились туда, ожидая найти там хоть немного тепла, но бараки были вымерожены, и игольчатое серебро инея осело на новых, еще не потемневших досках нар и на столбах, поддерживавших барак. Итальянцам не дали ни одеял, ни тюфяков, и так они провели свою первую ночь в лагере. На следующее утро около пятидесяти человек не встало. Они остались лежать на нарах, скрюченные, с коленями, поднятыми к подбородку, с руками, засунутыми между ног. Даже смерть не могла распрямить их, и они так и закоченели, ища тепла в порах собственных тел. Их свалили в мертвецкую — низенький, крытый толем барак, положили там штабелями, как дрова и вывезли ночью на телегах, без гробов, покрыв лишь брезентом, на кладбище. Трупы свалили в общую могилу, и там они сгрудились, сидя и стоя, как мороженая треска, так как нельзя было никакими силами выпрямить согнутые тела. Ночью же засыпали могилу, и утром приехал отпевать мертвецов чешский ксендз — их единоверец. Он прошел к большой

насыпи в своей черной длинной юбке, в кружевной накидке, в черной круглой шапочке с помпоном, с молитвенником в руках. Золотой крест висел на его груди. Красное толстое лицо с крошечными глазами, с длинным плоским носом, и короткая, бочкой, фигура придавали ему странное сходство с пингвином. Стеклянным голосом он пробормотал «Отче наш» и еще какую-то молитву и помахал над насыпью кропилом, которое ему подал прислужник. Он уже собрался уходить, когда к нему подошел лейтенант Шницлер, помощник коменданта лагеря, и что-то сказал ему. Они сели в бричку и поехали к итальянским баракам.

Бараки были все еще нетоплены. Итальянцы лежали и сидели на нарах, тесно сбившись, завернувшись в одеяла и прикрыв ноги тоненькими тюфяками, выданными им утром. Лейтенант скомандовал им встать на молитву. Они подымались с трудом, раскачиваясь на отмороженных ногах, и с удивлением смотрели на ксендза и на причетника. Лейтенант через переводчика объявил им, что их собственная католическая церковь освятит их новые жилища, и равнодушно отошел. Он был лютеранин, и таинства католиков не касались его. Ксендз опять забормотал и утиным шагом пошел по бараку, осеняя нары крестом и брызгая на них водой. По средине барака он остановился и медленно прочел молитву, призывая на дом сей благословение божие. Итальянцы молча следили за ним. Некоторые из них машинально крестились при знакомых звуках латинских молитв. Другие стояли с тупыми, застывшими лицами. Холод сделал их

полумертвыми и равнодушными ко всему. Третьи лежали.

К ксендзу подошел один из пленных. Это был невысокий, костистый человек, сутулый, с длинными руками. Солдатская одежда не могла обезличить его. По виду он был типичным крестьянином, и желваки проступали под кожей его лица, как мозоли. Униженно кланяясь, он рассказал ксендзу про мученья, которые он и его товарищи терпят в этих холодных бараках, и попросил его походатайствовать, чтобы в бараках протопили и вернули бы пленным отнятые у них шинели. Ксендз спокойно выслушал его, покачал головой в знак того, что не понимает, и, показав крестом на потолок барака, благословил крестьянина. Лейтенант повел ксендза к выходу, расхваливая устройство бараков и их чистоту.

Печи в итальянских бараках стали топить только на третий день. Топили мало, и огромные, насквозь промерзшие бараки не нагревались. Вокруг печей столпились пленные. Передние почти касались горячих железных стенок. Задние напирали на передних, протягивали руки, садились боком, задом, использовывали каждый дюйм свободного пространства, чтобы согреться. Скудный запас дров иссяк задолго до наступления ночи. На дворе же был мороз, необычный в Чехии.

Пандини, тот самый крестьянин, который говорил с ксендзом, вышел из барака. Мучительный холод ломил все его тело. Он в отчаяньи посмотрел на небо, опро-

кинутое над ним синим чаном с блестящими гвоздиками звезд, и пошел в ночь. Он был в полубреду, ему казалось, что он сидит дома у большой печи и охапками бросает в нее сухие смолистые сучья. Он наткнулся на забор из колючей проволоки и, шатаясь, побежал вдоль него. Бег не согрел его. Ноги были чужие, не сгибавшиеся в коленях, в руках была ноющая железная боль, пальцы растопырились, и нельзя было сблизить их. Пандини добежал до места, где заборы сходились углом. По другую сторону проволоки был госпиталь — туда он ходил на прием к врачу. Черная стена небольшого барака выходила к забору, и проволока в этом месте была отогнута. Пандини перелез на другую сторону и обошел барак. Дверь была только прикрыта, и он вошел. Он наткнулся на низенькие нары и упал на них. Его руки нащупали что-то похожее на длинный ящик, и Пандини сдвинул его с места. Его охватила радость, он подумал, что ящик можно унести в барак и сжечь его в печи. Он нашарил крышку и, так как пальцы не слушались его, столкнул ее плечом. В ящике был какой-то груз, что-то твердое и холодное, и Пандини, прощупав очертания лица и рук, понял, что перед ним мертвец в гробу. Страх охватил его, он хотел бежать, но бежать можно было только в свой барак, в холод, к умирающим от стужи товарищам.

— И мы так же ляжем, как ты, товарищ,— подумал он.

Страх его прошел. Плечом и руками он опрокинул гроб и вывалил труп на нары. Ему казалось, что мертвец

охотно ушел из гроба — на что он ему, если дерево может пригодиться живым, таким же несчастным, каким и этот бедняга был при жизни, и Пандини хотел даже прочитать над ним «Отче наш», но вдруг отвращение к молитве охватило его.

— Ладно, эти вещи хороши для попов,— сказал он и, взяв гроб подмышку, вышел из мертвецкой.

Он пробрался в свой барак, и никто не удивился страшному топливу. Гроб дал много тепла. Темный румянец проступил сквозь железные щеки печи, и итальянцы ожили. На следующий день все гробы исчезли из мертвецкой. Австрийцам не удалось выяснить виновников этого дела. На мертвецкую повесили тяжелый замок, железными болтами прикрепленный к двери.

Между русскими и итальянцами завязалось близкое общение. Итальянцев брали на ночевку в русские бараки, все же более теплые, чем итальянские, кормили их, хотя сами пропадали от голода, и скоро тесная дружба возникла между обоими лагерями. Пленные выспрашивали друг друга о своей прежней жизни — объяснялись знаками или через немногих переводчиков. Положение их было до жути схожее. Никаких иллюзий не осталось у них о действительных причинах бойни. И русские и итальянцы с одинаковой ненавистью говорили о войне и о тех, кто послали их на фронт. Тогда шел третий год войны, и люди, прошедшие через окопы, колючую проволоку, шрапнели, пули, облака ядовитых газов и побывавшие

в бараках лагеря военнопленных — эти люди не могли уже серьезно верить в бутафорские истории, созданные патриотическими газетами. И то, что казалось им серьезным в девятьсот четырнадцатом году, давно уже умерло для них в шестнадцатом.

В бараках возле печей по вечерам велись длинные беседы. Русские и итальянцы сидели вместе. Они уже немного понимали друг друга, а остальное переводил Исай Турнер, русский вольноопределяющийся, до войны учившийся в Милане. Говорили о своей жизни, вспоминали о том, как началась война и как многие верили в то, что война действительно нужная и справедливая и вызвана нападением противной стороны.

Павел Туманов, донецкий шахтер, рассказывал о том, как его взяли на войну.

— Итти не хотелось никому,— говорил он, кутаясь в свою рваную шинель и осторожно трогая рукой острое колено Пандини, как будто тот все понимал.— Нас однако не спрашивали. Взяли в казарму, обрядили, два раза погоняли на учение и назначили к отправке. Полк должен был выступить в двенадцать часов дня, а в десять служили полевой молебен. Вывели нас на луг, а посредине расположились попы. Было нас три тысячи человек — все здоровые и молодые. Я поглядел на них на всех, и сердце у меня сжалось. И так ясно представил себе, что вот везут нас в теплушках, потом высаживают и ведут в бой и бьют и бьют нас без жалости. Вот стоим мы на ногах, живые, а впереди убой, поганая смерть, и к чему все это? За кого мы умирать идем?

А попы кадят и поют, и кропят, и благословляют, бога зовут и родительницу его, и папашу, и ангелов, и святых. Стало мне противно и горько, разъела меня злость, а тут пошли они опять по фронту, и опять кропят и крест тычут. Прошел мимо меня поп, маленький и жирный, а за ним дьякон, длинный, в черной бороде, машет кадилом и поет. Не сдержался я и шепчу ему:

— Что же человечину заживо отпевать, вы бы сами с нами, отец, пожаловали, вам, золоченым, небось, не по вкусу...

А дьякон, походя, махнул на меня кадилом и говорит басом:

— Молчи, сволочь, делай, что велят,— навоз ты, а кому навоз жалко?

— Спроси его, — помолчав и закуривая, сказал Туманов Турнеру,— и у них, верно, так же? Без попов никуда, или иначе?

Турнер перевел вопрос, и Пандини, скупо усмехнувшись, ответил, что так, видно, водится во всем свете и что там, где смерть, там и попы. У них в Италии говорят, что поп и ворон одной породы.

Разговаривая с итальянцами и глядя на них, жалких, больных и обмороженных, я вспоминал лицемерные слова манифеста Франца-Иосифа, данного по случаю вступления Италии в войну.

— König von Italien hat mir Krieg erklärt (Итальянский король объявил мне войну) — так начинался этот манифест. И я думал о том, что ни король, ни старый император не объявляли друг другу войны, что оба они

оставались у себя дома, обедали, принимали ванны и ездили охотиться, а воевать пришлось всем этим несчастным людям.

Лето семнадцатого года было особенно ужасно для итальянцев. Тиф вспыхнул в их бараках, как пожар, и они погибли почти все. Трупов было так много, что хоронить их обычным порядком нечего было и думать. Ночью к мертвецкой подавались широкие телеги, и умерших складывали туда, как дрова, высокой грудой. Их покрывали брезентом, обвязывали веревками и так везли. Страшный транспорт выезжал из ворот и медленно направлялся к кладбищу. Безжизненные руки свешивались с телег, окостеневшие пальцы били по колесам, и желтые босые ноги торчали прямо и страшно, не сгибаясь в коленях.

Как-то вечером Любучек, наш госпитальный австриец, прибежал к нам и, плача и воя, бросился на постель и закрыл голову подушкой. Его лицо было искажено пьянством и безумием, и мы с трудом узнали от него, в чем дело. Он возвращался из Миловиц в лагерь и на повороте, там, где дорога сворачивала вправо к кладбищу, встретил транспорт мертвых итальянцев. Одна из телег опрокинулась, и скрюченные голые тела мертвецов (итальянцев хоронили голыми) посыпались на землю. При тусклом мелькании фонарей это зрелище должно было быть ужасным, и Любучек, обезумев, убежал.

Голые тела сваливались в общую яму, оскаленные зубы, мертвые глаза заливались известью и засыпались

землей. Итальянская часть кладбища военнопленных была больше русской и тянулась вверх от дороги до самой опушки леса...

А старый император писал в своем манифесте:

— König von Italien hat mir Krieg erklärt...

Пандини погиб. Он попался ночью в то время, когда ломал доски с уборной на топливо. Немолодой уже, суровый по виду и, казалось, необщительный, он глубоко страдал не столько за себя, сколько за своих товарищей. Рядом с ним на нарах помещались трое его земляков, совсем молодые парни, и они погибали на его глазах, как, впрочем, гибли и десятки других.

Госпиталь был забит больными, и австрийцы клали туда только в самых крайних случаях, когда человек никуда уже не годился. Непривыкшие к морозам итальянцы невыносимо страдали. Ноги и руки у них распухали и принимали страшный сине-багровый оттенок. Чито, сосед Пандини, двадцатилетний юноша, страдал больше других. Левая нога его совсем онемела и внизу у ступни вздулась так, что кожа грозила лопнуть. Ему грозила гангрена — частая гостья у пленных с отмороженными конечностями. У Чито не осталось никакого мужества. Он лежал закутанный в тряпье и в солому, покрытый тюфяками товарищей, и тихо плакал. И вот, чтобы хоть немного согреть его, Пандини пошел воровать топливо. Он не нашел ничего другого, кроме досок, прикрывавших выгребную яму. Доски пропитались испраж-

нениями, они даже на морозе издавали густой, терпкий запах трупа, но рассуждать было нечего, и Пандини потащил их в барак. Его заметил часовой, но крестьянин не хотел расставаться со своей добычей и побежал. Свинцовая пуля из старинной винтовки (такими винтовками были вооружены часовые) попала ему в ногу и вышла, развороти в бедро. Он упал и все же пытался ползти, не выпуская вонючих досок. Австрийцы, прибежавшие из караульного помещения, подняли его и понесли к себе. Пока пришел дежурный офицер, они стояли молча и смотрели на Пандини. Тут были одни старые ландштурмисты (ополченцы), годные только для тыла, жалкие, полубольные люди, и никакого энтузиазма не было у них оттого, что они застрелили итальянца. Убийца стоял на кривых подагрических ногах и, моргая глазами, что-то растерянно бормотал. Это был старый немец из Зальцбурга, кроткий человек, торговавший у себя дома птицами. Мы знали его уже несколько месяцев, и было дико подумать, что он способен убить человека. Однако это было так. Пришел офицер, составил акт, и Пандини на носилках унесли в госпиталь. Его рана была неопасна, но вконец истощенный организм не мог сопротивляться, никаких сил не осталось в нем для борьбы, и Пандини умер через пять дней. Перед смертью к нему вызвали ксендза с птичьим лицом, и нам рассказывали, как умирающий встретил его:

— Porca Madonna[1],— сказал он, качая головой,— я

---

[1] Ругательство: свинья мадонна.

делал эти вещи всю жизнь, а теперь не надо больше, уходите.

Ксендз стал бормотать над ним своим стеклянным голосом, но Пандини плюнул на пол и показал священнику кукиш.

— Pater noster,— крикнул он с иронией,— выметайтесь отсюда. Я видел вас в нашем бараке. Почему вы не помогли нам тогда? Чито остался бы жив и другие тоже. Почему вы не помогаете нам на земле, а все даете векселя с уплатой на небе? Гнилой товар, падре.

Тут кашель разодрал ему горло. Он кашлял долго, ненависть и боль изуродовали его лицо, и он схватился за сутану священника, точно боясь, что тот уйдет.

— Подождите,— сердито сказал он,— я хочу все выложить вам. Вы здесь молитесь Иисусу и его матери о том, чтобы он помог вам побить итальянцев, а наши попы молятся ему о том, чтобы он позволил итальянцам уложить побольше австрийцев. Кого же ему слушать? Ведь вы все одинаковы, ваш хозяин — папа в Риме, и даже молитесь вы по-латыни одними и теми же молитвами. О сволочи, сволочи! Уходите же скорее отсюда, черная ворона. Я пойду, куда надо, и без вас.

Он лег и вытянулся всем телом. Ксендз, притворяясь, что не понял смысла его слов, поднес ему крест, но Пандини, сунув в рот два пальца, из последних сил свистнул так издевательски и богохульно, что ксендз, повернувшись, торопливо ушел.

Вечером Пандини умер.

ПРИЕЗД КНЯГИНИ

Зима проходила как-то медленно — не было ей конца и сносу, а между тем нигде, вероятно, во всем мире не желали так сильно тепла, как у нас в лагере. Холод сушил нас и выматывал ничтожные запасы сил и мужества, еще уцелевшие в истощенных телах. На фронте все же было лучше, чем здесь. Там мы были сыты и тепло одеты, пища грела нас, как жаркая печь, и мы тогда еще не знали по горькому опыту, насколько труднее холодать постоянно голодающему человеку. В плену же мы по-настоящему поняли, что значит продрогнуть до костей. Сквозь худую, вялую и тонкую кожу, сквозь рыхлые, мягкие мышцы холод проникал в наши тела. Мы были, как дырявые мешки, костяки промораживались насквозь, и многие испытывали страшное и мучительное ощущение: мерзли кости. Мерзли и сводились какой-то особой железной болью, и тогда нельзя было ходить, шевелить руками или делать резкие движения. Человек становился жалким, тупым и никуда уже больше не годился.

За зиму умирало несчетное количество пленных. Они умирали от самых легких болезней, которые в ином положении перенесли бы на ногах,— от простуды, воспаления легких, небольших нарывов или гастрита. Люди стали совсем непрочными, и жизнь так же легко покидала их, как рвется намокшая бумага. Нечем было бороться, и смерть встречалась равнодушно и безучастно.

И вот в эти проклятые дни, на грани зимы и весны, приехала в лагерь из России важная особа — княгиня и приближенная императрицы Марии Федоровны. Она приехала при посредстве шведского Красного Креста и, как официально говорилось, с целью посмотреть, как живут русские пленные в австрийских лагерях, и помочь им.

Ее приезд взбудоражил весь лагерь. В первый раз за все время войны к нам приезжала с далекой родины русская женщина, свободная, обладающая властью облегчить нашу жизнь. Она должна увидеть, в каких скотских, нечеловеческих условиях мы живем, как нас кормят, как морозят. Она не может не возмутиться, не может не проникнуться нашими муками. И кто знает, ведь уже ходили слухи, что пленных будут отправлять в нейтральные страны, что слабых и больных вернут в Россию, и во всяком случае есть возможность присылать в лагерь продовольствие и вещи из Голландии, Швейцарии и Швеции.

— Скоро приедет княгиня,— говорили по баракам, и это звучало, как если бы ждали Мессию.

Никакой надежды на близкое окончание войны у нас

не было, наши мучения достигли уже всех мыслимых пределов, и кто же кроме княгини мог нам помочь? О приезде ее уже ходили легенды, и представляли его примерно так: она приезжает, добрая к нам, суровая к австрийцам, обходит бараки, качает головой при виде голодных, замученных людей, их грязных нар. Она жестоко распекает австрийцев, она угрожает им и требует, чтобы они немедленно изменили условия нашей жизни. Конечно, она привезет с собой разные вещи: продовольствие, одежду или еще что-нибудь. Австрийцы будут суетиться, извиняться перед княгиней, ибо невозможно, чтобы они могли перед ней оправдать все тяжести и лишения лагерной жизни.

Разрабатывался проект торжественной встречи. Намечали, кому говорить с княгиней. Составлялся даже план на тот случай, если австрийцы не отойдут от нее, незаметно сообщить ей, чтобы она одна, без них, побеседовала с пленными. На этой почве даже появилась рознь и нелады между людьми. Дело в том, что не всем одинаково было худо. Неравенство и классовая рознь были сильны в лагере. Тут было много зажиточных людей — торговцев, интеллигентов, богатых крестьян, которые получали деньги и посылки с родины. Я уже говорил, что многие из числа унтер-офицеров, фельдфебелей, ремесленников и кустарей устроились при австрийцах. Они были заведующими кухнями и мастерскими, комендантами бараков, писарями в канцелярии, делали на сторону разную работу и в общем жили неплохо. У них были свои отдельные помещения, пища им

готовилась особо, они пользовались разными льготами, и плен не давался им так ужасно и гибельно, как массе, живущей в нетопленных бараках на казенном пайке. Это они были инициаторами постройки лагерной церкви и они же преимущественно ходили туда молиться. Они не стеснялись преследовать наиболее ярых безбожников, не посещающих церкви, и прибегали при этом даже к власти австрийцев.

Нет, единства не было среди нас, и это стало ясным к приезду княгини. Ее думали встретить по разному. Лагерная буржуазия не очень была заинтересована в материальной помощи. Ей хотелось продемонстрировать перед княгиней свои патриотические и христианские чувства, так как ходил слух, что всех пленных будут судить по возвращении в Россию, и вот тут был удобный случай доказать свою лойяльность и благонравие. Был план встретить княгиню пением гимна и затем устроить службу в церкви. Для этой цели предполагалось пригласить православного русинского священника, который жил в соседнем городке и в особо торжественных случаях приезжал в лагерь. Опасаясь, чтобы «люди бараков», как звали у нас всех, живущих на казенном пайке, не нажаловались княгине и тем не рассердили австрийское начальство, которое могло бы лишить их теплых местечек, лагерные богачи пытались отстранить их от устройства встречи. Они дошли до того, что тихонько предупредили австрийских капралов и лейтенанта о том, что намерены хвалить жизнь в лагере. Понятно, сколько злобы и горечи назревало среди боль-

шинства пленных. Они угрюмо сторонились своих зажиточных товарищей и собирались отдельно от них у себя по холодным баракам.

Приезд княгини был назначен через два дня, а между тем не было видно, чтобы австрийцы готовились к нему. Они не чистили и не убирали лагеря, пища не улучшалась, и обычные лагерные будни были в день прибытия княгини. Только на этот раз людей из бараков не погнали на работу.

Княгиня приехала в желтом фаэтоне. Ее сопровождал полковник — комендант лагеря, его помощник и двое каких-то штатских. Комендант помог ей выйти, поклонился ей, и она быстро прошла к группе пленных. Австрийцы остались у фаэтона. Фельдфебель Охрименко, несколько унтер-офицеров и интеллигент Песоцкий вразброд запели «Боже, царя храни», но, испугавшись повернувшегося к ним лейтенанта, растерянно замолкли. Гимн позорно провалился.

Княгиня была уже пожилая женщина со спокойными голубыми глазами, одетая в коричневую, очень изящную куртку, с наколкой сестры на голове, с повязкой Красного Креста на рукаве.

— Здравствуйте, здравствуйте,— приветливо сказала она.— Ну, вот, я к вам приехала, дорогие солдатики. Расскажите же, как вы тут живете?

Она оглядела приличные шинели и далеко неистощенные лица (тут была лишь одна головка лагеря) и довольно кивнула головой.

— Вид у вас хороший,— прибавила она,— и лагерь здесь чистый, чище, чем другие.

Фельдфебель Охрименко, шкура, как его звали солдаты, выступил вперед и, вытянув руки по швам, скороговоркой, как на рапорте, доложил княгине, что живут они хотя и трудно, но все же, слава богу, ничего, что страдают только оттого, что не могут защищать родину-мать и его императорское величество государя-императора (последние слова он произнес тихо, чтобы, упаси, боже, не услыхали австрийцы), и что они день и ночь молятся о ниспослании победы православному российскому воинству. Заканчивая свою речь, Охрименко пытался даже всхлипнуть, говоря о том, что приезд княгини, ее сиятельства, для всех пленных великое и якобы незаслуженное счастье.

Пока он говорил, десятки и сотни людей незаметно надвинулись со всех сторон и окружили княгиню. Она увидела их и невольно вздрогнула. Она уже, вероятно, видела таких же замореных полумертвых людей и в других лагерях, знала, что ничего приятного нельзя от них ожидать, и недовольная гримаса скользнула по ее лицу.

— Ну, вот,— громко сказала она,— надеюсь, что вам живется не так скверно? Ваши братья на фронте продолжают свое славное и доблестное дело, а вы все же избавлены от опасностей, и это, поверьте мне, уже много. Родина не забывает вас, и ее величество императрица Мария Федоровна поручила мне навестить вас. Я уверена,— она перекрестилась, и за нею перекрестился Охрименко и некоторые другие,— я уверена, что вы не лишены забот нашей святой церкви. Думаю, что вам

дана возможность молиться. Я просила австрийское начальство, и мне любезно обещали, что к вам будут присылать православных священников, я же привезла вам святые евангелия. Они находятся у господина коменданта и после соответствующего осмотра будут вам розданы.

Толпа надвинулась на нее сильнее, и тщетно Охрименко и его товарищи пытались оттереть ее. Землистые, острокостные лица, съеденные голодом и болезнями, придвинулись к княгине, тяжелый запах немытых тел и грязной одежды, неснимаемой месяцами, душно обдал ее, и вот выдвинулся Савельев, худой и согнутый человек с острой, ковлиной бородкой, с суровыми печальными глазами, зарайский плотник.

— А как же с нами быть, ваше сиятельство,— глухим голосом начал он,— вот видите, какие мы... Хотя бы, скажем, сухариков черных прислали нам или топили, скажем, в бараках.

Голос его порвался, взвизгнул, и, махнув рукой, Савельев плача сказал:

— Пропадает совсем народ,— да какие же тут евангелия...

Охрименко ловко оттер его и сладостным голосом попросил ее сиятельство присутствовать при богослужении.

Но княгиня отказалась, сказала, что у нее еще много дел. Она еще раз спокойными голубыми глазами осмотрела людей барака, она будто не замечала их страшного вида, она не ответила Савельеву и только напомнила, что

солдатики должны молиться и поручить себя заботам святой матери-церкви, а она, княгиня, сочтет своим долгом сообщить ее величеству, что нашла их в добром здравии и истинно христианском смирении. Она помахала рукой, сказала: — До свидания же, дорогие солдатики, — и пошла к фаэтону.

Комендант помог ей сесть, его помощник щелкнул шпорами, и они уехали.

ГОСПИТАЛЬ

У ворот лагеря — караульное помещение австрийцев, за караульным помещением — длинный и низкий барак с решетками на маленьких окнах — гауптвахта, куда сажали арестованных пленных. И против гауптвахты — госпиталь, восемь или десять бараков, стоящих рядом, и в стороне от них, у самой проволоки — еще один барак поменьше — мертвецкая.

Тяжелые колеи протянулись от мертвецкой к воротам госпиталя. Они были так прочны, столько раз колеса телег, груженных гробами, проезжали по ним, что дожди уже не могли замыть их, и крепко сбитая земля лоснилась в них, как резина.

Мертвецкая всегда безрадостна, но в нашем госпитале она была особенно мрачна. Суровый этот барак почти во всю свою длину имел низкие деревянные нары. Дерево нар забурело от гноя и сукровицы, протекавших сквозь щели гробов. Плохо пригнанные двери часто не закрывались, и, даже не заглядывая в них, можно было видеть сухие очертания голых тел и желтые ступни ног, торчавших из-под грязных простынь.

Мертвецкая редко бывала пустой, и часто случалось, что нары не вмещали всех трупов. Тогда Кашек, чех, заведующий кладбищем и мертвецкой, приказывал класть тела в два яруса или подсовывать их под нары, где от земли был просвет вершков двенадцати в вышину.

Кашек был высокий костлявый человек лет сорока, с лицом Вагнера, строгим и мудрым, точно изваянным из серой грязноватой бронзы и с ясными бездумными глазами. Изумительный чеканный профиль и скульптурные складки лица придавали Кашеку выражение умной горечи, но впечатление это сразу исчезало, когда Кашек начинал говорить. Голос у него был глупый и крикливый, неприятного тембра, и первые же фразы выдавали, что Кашек был неразвит и глуп. Он был «седлак» — мелкий чешский крестьянин — и каждую неделю, вернувшись из бани, писал своей жене обстоятельные письма, в которых перечислял ей все свои дела и сообщал, что у него, слава богу, было много мертвецов за истекшее время, и все, стало быть, идет благополучно. Он очень дорожил своим местом, оно спасало его от фронта, и радовался, что больные часто умирают, так как это делало его положение в госпитале более твердым.

Тут же в мертвецкой у него была своя канцелярия — столик с запирающимся ящиком, где Кашек хранил записи своих мертвых и вел счет гробам. Над столиком он повесил придуманную им самим табличку: «Toten Kanzlei» (Канцелярия мертвых) и фотографию своей семьи — жены и трех детей. Его ничуть не смущало, что

фотография висела в мертвецкой: ведь мертвецкая была местом его службы, его канцелярией.

По утрам он хозяйственно обходил больничные бараки и справлялся у комендантов, есть ли умирающие. Если больной еще не умер, но был по мнению Кашека безнадежен, он тут же на глаз определял его рост и записывал размер гроба. Он напевал свою любимую песню: «Шупсем, шуптам, нам уже ето вшецко едно» и шел в столярную мастерскую заказывать гробы. Он любил ходить по кладбищу и вычислять, сколько места осталось под могилы и в какой срок кладбище может быть заполнено. К мертвым он был глубоко равнодушен и рассматривал их, как инвентарь, как хозяйственное имущество.

Однажды к нему в его Toten Kanzlei пришла женщина. У нее было дело к Кашеку. Полгода назад в местном австрийском госпитале умер ее муж, венгерский ефрейтор, и был похоронен на кладбище военнопленных. Теперь женщина хотела перевезти тело на родину. Кашек должен был вырыть ефрейтора из земли и переложить его в новый металлический гроб. Они долго торговались и сошлись на двадцати кронах. Условились сделать все это на рассвете; и Кашек взял на помощь Дымова, русского санитара из госпиталя.

Синеватые сумерки еще рассасывали ночь, когда они привезли на кладбище гроб и приступили к работе. Вдова была тут же. Кашек и Дымов сняли крест и быстро раскидали землю. Дымов подвел веревки под гроб, и они вытащили его наверх. Доски гроба уже подгнили, и крышка легко отскочила. Невыносимая вонь хлы-

нула оттуда, и картина смерти представилась им во всем своем ужасе и печали. На черном, расползшемся лице ефрейтора все еще гордо торчали усы, клочья волос с головы вместе с кожей свалились на лоб и в провале носа густо кишели мелкие, как рис, черви. Вдова смотрела, задыхаясь от отвращения и тошноты, заготовленные слезы не текли из ее глаз — она никогда не могла подумать, что ее муж станет таким страшилищем, и ей хотелось скорее убежать отсюда.

Кашек и Дымов пытались переложить тело в металлический гроб, но оно расползалось у них под руками, смрад душил их, и Кашек, плюя и ругаясь, отскочил от мертвеца. Он сердито посмотрел на вдову, затеявшую такое глупое дело, и потребовал еще десять крон — мертвец, говорил он, воняет больше, чем он думал. Вдова не хотела платить, она утверждала, что заплатит только условленные двадцать крон, и Кашек, показывая ей на груду гниющего мяса в открытом гробу, с укоризной сказал, что она плохая жена и очевидно мало любит своего мужа, если жалеет для него десять крон. После долгих споров они сошлись на пяти добавочных кронах, и Кашек с Дымовым вывалили труп в металлический гроб, закрыли его простынями, побрызгали лизолом, засыпали известью и завинтили крышку.

Дымов получил от Кашека три кроны.

Госпиталь отстраивался не сразу. Сначала был только один барак, околоток, куда пленные ходили на прием к врачу, и при околотке помещение для лежачих

больных. Потом постепенно стали открываться новые бараки, госпиталь отгородили от лагеря, и он стал жить отдельной жизнью. Русские фельдшера играли в госпитале важнейшую роль. Они собственно и обслуживали больных и делали для них все необходимое по указанию врача, обычно раз в день обходившего бараки. Фельдшерам помогали санитары, на обязанности которых лежала вся черная работа — уборка бараков, переноска больных, распределение пищи и многое другое. Санитаров брали необученными из лагеря, и они скоро осваивались со своей нехитрой, но тяжелой работой. Их положение считалось все же очень выгодным, так как в госпитале кормили лучше, чем в лагере, и то, что во время эпидемии санитары могли заболеть (и в самом деле большая часть из них переболела тифом, а некоторые и умерли от него) не принималось во внимание.

Васька Шубин, медицинский фельдшер, одним из первых переселился в госпиталь, а позже перетащил туда и меня и некоторых других медиков и фельдшеров. Австрийские врачи принимали нас радостно, мы оказывали им большую помощь, и без нас они не справились бы, так как австрийцы сильно нуждались в младшем медицинском персонале, и его нехватало даже для их собственных госпиталей. Нас сначала поместили в одном бараке с больными, и в этом бараке, имевшем метров пятьдесят в длину, лежали пленные с самыми разнообразными болезнями, начиная от легких желудочных, хирургических и легочных больных и кончая тифозными и дизентериками.

В госпитале кормили сначала неплохо, и мы долго не могли отъесться. Хлеб у нас оставался, но мы прятали его под тюфяки, думая, что все же потом съедим его, и только когда он черствел, с сожалением отдавали его. Но потом стали кормить значительно хуже, и нам пришлось голодать.

Утром мы работали в околотке на приеме. Заветной целью каждого пленного было попасть в госпиталь или в крайнем случае получить освобождение от работ. Пленные приходили целыми отрядами, каждый барак имел свою книгу, и старший записывал в нее фамилии больных. Очень многие жаловались на ревматизм, болезнь, почти повальную у нас, так как было мудрено, пройдя через фронт, окопы и долгие ночевки на голой земле, остаться здоровым. Врачи работали со скукой, в их распоряжении были лишь самые необходимые и недорогие лекарства и то в очень маленьком количестве, и они знали, что по директивам их начальства в лагерях военнопленных должна была проводиться самая жесткая экономия. И лечение в околотке было простое: от ревматизма давали салицилку, а в особых случаях и камфарный спирт, считавшийся драгоценностью, и скоро совсем исчезнувший у нас. От кашля были доверовы порошки и от всех болезней — аспирин. В изобилии был только хинин, и его не жалели. От изжоги полагалась сода, которую завертывали в папиросную бумагу и давали тут же глотать. Перевязки делались в углу у столика, на котором был разложен скудный перевязочный материал и стоял таз с розовым

раствором сулемы. Бинты были плохие и старые,— один и тот же бинт употребляли несколько раз и потом заставляли санитаров стирать их, скатывали и опять пускали в дело. Но и эти бинты из жидкой, легко рвущейся марли стали потом редкостью. Они употреблялись только при тяжелых перевязках, а для околотка давали бумажные бинты. Бинтовать ими было чрезвычайно трудно, они плохо прилегали к телу и рвались от легкого движения. Обычно такая перевязка никуда не годилась, и больные повязывали сверх нее какую-нибудь грязную тряпку.

Пленные болели охотно, болезнь давала им хоть маленькую надежду избавиться от барака и от надоевшей тяжелой работы. Но клали в околоток только тогда, когда были места, а это случалось не часто.

Всю массу пленных сильно мучила неприятная болезнь — чесотка. Чесоткой переболел весь лагерь, и избавиться от нее было трудно. Она часто протекала в злокачественной форме — густые прыщи высыпали по всему телу и больше всего на руках между пальцами. Прыщи лопались, загнивали от грязи, и руки у таких чесоточных были ужасны, как у оспенных больных. От чесотки давали желтую вонючую мазь, целое ведро который стояло в околотке, и потом, когда чесотка в лагере усилилась, австрийцы заставили всех пленных вымазаться ею. В лагерь привезли бочку этой мази, старшие бараков получили по ведру каждый и под личной ответственностью должны были проследить, чтобы все смазывались. Несколько дней после этого в

лагере невыносимо воняло, но часотка поддалась мало: слишком уж велика была грязь и скученность, в которой мы жили.

Приходили на прием и тяжело больные. У некоторых были явные признаки активного туберкулеза — острокостные, землистые лица, впалые груди с глубокими ямами на ключицах, ночные выпоты, температура и кашель. Врач выстукивал их — звуки получались гулкие, пустые, прикладывал к их груди и спине ухо, вздыхал и давал доверовы порошки. Больной жаловался на слабость и просился в госпиталь, но клали только больных третьей стадии, и врач ничего не мог поделать. Он давал освобождение от работ и назначал больному притти через три дня, а против его имени записывал — Apici-tis — поражение верхушки легкого, так как ТВС — обозначение туберкулеза — австрийцы почти не употребляли, чтобы показать потом в официальной статистике, что у них в лагерях жилось хорошо и было мало туберкулезных.

Приходили и люди с кровавым поносом, подозрительные по дизентерии, и таких врачу волей-неволей приходилось класть в госпиталь. Больной приносил из барака свои вещи и с расцветшим лицом, хотя он и вправду тяжело страдал — укладывался на койку. Эта железная кровать на кривых погнутых ножках, с плоскими тюфяками и с соломенной подушкой все же казалась ему большой роскошью по сравнению с грязными нарами в бараке, и пребывание в госпитале по праву считалось у пленных хорошим отдыхом.

Я говорил уже, что мы в первое время спали в том же помещении, где и больные. Наши кровати ютились в уголке, у кроватей стоял служебный стол, и сейчас же за ним тянулись койки больных. Дальний конец барака, немного отдаленный от остальных коек пустым пространствам, предназначался для самых тяжелых больных.

Через несколько дней после моего переселения в околоток туда положили Башкина, рыхлого и тяжелого мужика, того самого, который так ловко выпрашивал милостыню в то время, когда нас везли в Липник. У Башкина была какая-то инфекционная горячка, может быть даже тиф, и после этой болезни у него появлялись припадки буйства, во время которых он становился очень опасен и совершенно невменяем. Мы боялись спать с ним в одном бараке и просили врача изолировать его, но врач, осмотрев Башкина, успокоил нас и сказал, что ничего страшного тут нет, и больной просто нервничает.

К вечеру Башкин закричал диким голосом и стал швыряться всем, что было под руками. Тяжелая бутылка, брошенная им, попала в живот одному больному, и тот упал без чувств. Шесть человек с трудом связали Башкина. Полотенцами привязали его к кровати. Он сначала бился, потом заплакал и стал просить, чтобы его развязали. Он причитал, слезы обильно капали из его глаз, он отчаянно раскачивал головой и повторял:

— Развяжи несчастненького, фельдшерок милый, не мучь душу пленную, поцелую, расцелую, тихим лягу...

Васька Шубин подошел к нему, хотя мы отговаривали его от этого. Башкин, всхлипывая, тянулся к нему лицом, тучный живот его тяжело опадал, он вытянул трубочкой губы, как для поцелуя, и когда Васька наклонился над ним, Башкин с ревом рванулся к нему, оскалив белые, хищные зубы. Я бросился на Башкина, за волосы отгибая его голову. Он все же успел ухватить Шубина зубами за гимнастерку у плеча и вцепившись, как бульдог, разорвал ее. Мы связали его крепче, я держал ему голову, и Васька влил ему в рот лекарство. Башкин смотрел на меня красными глазами и тихо рычал. Было страшно оставаться с ним, но шел уже одиннадцатый час ночи, и мы решили лечь.

Я спал тревожно и несколько раз ходил смотреть на Башкина. Он лежал тихо, глаза его были закрыты, но что-то в его позе не нравилось мне и вызывало глубокую тревогу. Он был похож на насторожившегося зверя, готового к нападению. Мне показалось, что он притворяется спящим и что глаза его грозно поблескивают из-под опущенных век.

Я проснулся от какого-то заглушенного шума и от чувства сильного беспокойства, овладевшего мною. Керосиновая лампа тускло освещала барак. Я посмотрел туда, где стояла башкинская постель, и протер глаза — кровати не было. Я вскочил, охваченный неудержимым ужасом — и во-время. Башкин был сбоку от меня.

не больше, чем шагах в шести. Каким-то необычайным путем он развязал руки, но не мог развязать ног, так как ноги были привязаны простынями, узлы которых находились у ножек постели, опрокинулся вместе с кроватью и пополз, волоча ее за собой. Трудно сказать, как никто не проснулся, может быть оттого, что он не производил почти никакого шума, но только он успел проползти вместе с кроватью почти до меня, пока я не проснулся. Башкин был очень страшен, и я громко вскрикнул. Шубин вскочил и, схватив скамейку, швырнул в Башкина. Мы с трудом одолели его. Больше в эту ночь не спали. Утром Башкина отправили в изолятор. Через два месяца он вернулся совершенно здоровым. Он ничего не помнил из того, что с ним было во время болезни, и лицо у него было очень спокойное и кроткое.

Между тем околоток заполнялся все больше, мест нехватало, и начали строить новые бараки для госпиталя. Их строили не сразу, а по мере нужды, потому что австрийцы тогда не предполагали, что эпидемии в лагере примут большие размеры. Строились бараки по одному плану с очень маленькими изменениями. Вход вел в узенький коридор, там были двери в канцелярию барака, где жил австрийский капрал, заведующий бараком, и в другую комнату для русских фельдшеров и санитаров. Прямо из коридора можно было пройти в главное помещение, очень длинное, со многими дере-

вянными столбами, поддерживавшими потолок. Кровати тут стояли у стен и по средине барака, оставляя только узенькие проходы.

Немного особняком на самом краю госпиталя стоял барак для венериков. Венерики водились у нас обильно, число их никогда не убывало, и среди них были старички с болезнями еще российского происхождения и такие, которые заболели в Австрии.

Пленные, долго жившие без женщин, искали их при каждом удобном случае. Многие ухитрялись ходить к знакомым женщинам или даже в маленькие замаскированные дома терпимости, которых было немало в окрестных городках. В стране ощущалась острая нехватка мужчин, мобилизованных почти поголовно, и чешки были очень благосклонны к русским и предпочитали их венгерцам и немцам, гарнизоны которых стояли в Чехии, и которых чехи ненавидели.

Во всяком случае гонорея свирепствовала у нас, и одно время число заболевших было так велико, что их не клали в госпиталь и пользовали амбулаторным способом. В грязной амбулатории при венереческом бараке «Папаша» — огромнейший, девятипудовый фельдшер, разводил в тазу раствор марганцевого калия, засучивал рукава своего халата, садился у таза, набирал жидкость шприцем и в очередь, одного за другим спринцовал больных. Шприца он не мыл, и когда врач сделал ему замечание, «Папаша» с презрением показал на жалких своих пациентов и, не стесняясь того, что они слышат его, сказал:

— Ну, стоит ли, пане докторе, для таких мыть, ведь свиньи же, а не люди...

«Папаша» считался большим знатоком по венерической части, и пленные позажиточнее лечились у него частным образом. Он пользовал их в своей комнате, спринцовал их протарголем и давал какие-то пилюли, о которых говорил с таинственным видом, что это гериогское средство, секрет которого он будто бы узнал у одного знаменитого врача.

Я скоро убедился в том, что он врал, и эти пилюли, обычное мочегонное лекарство, он брал без всякого рецепта в аптеке в Лисе. «Папаша» был хитрый, жадный и жестокий человек, больные боялись его, и он обкрадывал их, присваивая их порции и лекарства, и часто колотил их.

Знания у него были примитивные, про него говорили что он держал притон в Екатеринославе, медициной же начал заниматься в плену, чтобы устроиться получше и повыгоднее.

Его барак был самым мрачным и зловонным из всех госпитальных бараков, туда было жутко входить, и сифилитики и больные гонореей и мягким шанкром лежали там в одном помещении.

Сифилитикам приходилось особенно плохо. Лечили их старыми способами, не было даже Эрлиховского препарата «606», и понятно, что болезнь принимала у них скверное течение. Поставщицей сифилиса для лагеря долгое время была одна немка из Лисы. Она вошла в соглашение со Шнейдером, лысым, уже пожилым

австрийцем, работавшим в лагерном цейхгаузе, и он приводил ей гостей. Эта немка перезаразила человек пятнадцать, пока ее жертвой не стал Горбачов, сын богатого костромского купца, добровольцем пошедший на войну. Горбачов был у немки несколько раз со Шнейдером, и она очень понравилась ему. Ему было всего двадцать лет, и немка была, как он признавался, только второю его женщиной. Она была с ним очень сдержанна, ласкова и при третьем свидании подарила ему свой портрет. Этот портрет потом попал к Ивану Леонтьевичу, служителю венерического барака, в его серию «роковых женщин». Он изображал молодую женщину с мечтательными глазами, маленьким нежным ртом, с вьющимися волосами и с букетом иммортелей в руке— добродетельный, бюргерский портрет молодой немки.

Горбачов долго не верил своей болезни. Плоские твердые язвочки, появившиеся у него, он считал пустяком, и когда врач сказал ему, в чем дело, он был потрясен. Он уверял нас, что это невозможно, что Мицци честная, прекрасная женщина, что она не хотела брать у него денег, и он поэтому сделал ей подарок — золотое кольцо с изумрудом. «Папаша» взял его на особое попечение, вымотал у него все деньги и учил не верить женщинам.

Немку решили ликвидировать. За это дело взялся старший врач, не очень заинтересованный в том, чтобы иметь в своем госпитале сифилитиков. Немку задержали и после медицинского осмотра отправили на принудительное лечение. Жандарм с лакированным ведром

на голове провез ее в тележке мимо нашего лагеря. Она помахала нам рукой, и некоторые пленные ответили на ее приветствие. Не видно было, чтобы они сердились на нее.

В венерическом бараке были свои старожилы. Они устроились здесь прочно, им тут нравилось, и грязь и вонь мало смущали их. Их главной заботой было ладить с «Папашей», чтобы он не выписывал их. Они платили ему, и он не трогал их. Все зависело от него, так как врач брезгливо обходил больных, избегал прикасаться к ним и во всем верил «Папаше».

Врач этот, доктор Шлейфер, специалист по женским болезням, с отвращением нес свою службу. Он был из Райхенберга, должен был ехать на фронт, но благодаря связям сумел остаться в тылу. Он хлопотал о переводе в родной город и мало интересовался тем, что происходило в его бараках.

Ближайшим помощником «Папаши» был Иван Леонтьевич, рыжий, совсем беззубый человек, по виду очень добрый и простодушный, на деле же лукавый и способный на скверные дела. Он попал в барак, заболев мягким шанкром, и, вылечившись, остался тут. С «Папашей» у него был тесный союз, и оба они зорко смотрели за тем, что плохо лежит. В разгар тифа Иван Леонтьич заболел и попал в тифозный барак, и тут про него рассказывали нехорошие вещи. Говорили, что он ограбил на большую сумму иконописца Мухина. Скупость его была ужасна — он притворялся бедняком, но тайно скупал золотые монеты. Он не знал, куда их

спрятать, так как боялся обысков и краж, пока Кин, зубной техник, не навел его на мысль. Кин шутя предложил ему сделать себе золотые зубы. Иван Леонтьич задумался и потом, как бы невзначай, спросил у Кина, сколько должны стоить золотые челюсти, и можно ли их потом продать. Уверившись в том, что золото всегда золото, и что золотые челюсти стоят большую сумму, Иван Леонтьич решился. Через доктора Шлейфера он заказал себе в Праге золотые челюсти. Он справедливо рассудил, что зубы у него не отымут, а в России он всегда сможет продать их, и таким образом устроил себе во рту сейф. Золотые зубы он носил на груди в кожаном мешочке и надевал их только по воскресеньям,— боялся, что они износятся.

У него была еще одна страсть — к красивым женским портретам. Он собирал их, где мог — выпрашивал, покупал или отбирал у умерших больных. Он подобрал брошенный Горбачовым портрет немки, и кроме того у него было несколько карточек чешек из соседних селений и портрет Люси, невесты умершего в тифозном бараке вольноопределяющегося Белявского. Все эти портреты были развешены в рамочках из ракушек над койкой Ивана Леонтьича, и было странно видеть в этом поганом месте — Иван Леонтьич жил в общем с больными бараке, где его койка стояла в уголке — милые и молодые женские лица. Он любил смотреть на них, лежа на своей койке, и называл их «роковыми женщинами».

Хотя венерики и не имели права заходить в другие

бараки, но они бывали повсюду и к ним ходили больные со всего госпиталя. Пленные, в большинстве крестьяне, были совсем не брезгливы и у венериков покупали хлеб и другие продукты, совсем не боясь заразиться. Настоящей изоляции заразных в госпитале не было, и в самый разгар тифозной эпидемии в тифозные бараки заходили и другие больные и посетители из лагеря. Болезнь считалась несчастьем, а от несчастных беречься было стыдно — и не береглись. Настоящую изоляцию помню я один только раз, когда в лагере был случай натуральной оспы.

Появление оспы необычайно встревожило австрийцев. У них уже много лет не было ни одного случая этой болезни, и испуганные возможностью ее распространения они приняли самые энергичные предохранительные меры.

В госпиталь пришел Новиков — могучий, рыжеватый человек, широкий в груди и плечах, с медвежьей ухваткой и тяжелыми движениями. Он не вошел вместе со всеми, а остался у двери и сел на пороге, колупая пальцем ощербленную ступеньку. Его вызвали последним, и он, неохотно подойдя к врачу, попросил порошков от горячки. Тогда принимал доктор Пташек, добрый человек, хорошо относившийся к пленным. Он небрежно взял руку Новикова, чтобы пощупать пульс, и вдруг, отбросив эту руку, вскочил и завизжал:

— Цо машь, гоху, цо машь (что же у тебя, парень, что у тебя)?..

— Горячит малость,— неторопливо и спокойно от-

ветил Новиков, неодобрительно посматривая на испуганного врача,—голова еще болит, порошков дайте, я и пойду, мне освобождения не надо.

Пташек, окунув руки в розовый раствор сулемы, пытливо смотрел на него, велел удалить всех больных и скорее позвать старшего врача. Когда пришел старший врач, Пташек возбужденно зашептал ему на ухо, показывая на Новикова. Новикову велели раздеться догола, и он, поколебавшись, стал медленно раздеваться, стаскивая с себя гимнастерку, серую, видно давно не мытую рубаху, шаровары и долго разматывал портянки. Его тело частыми кучками осыпали розеолы, красные, набухающие темной кровью и гноем, более частые на груди и редкие на ногах. Врачи, кудахтая, обходили его, и старший врач стеклянной палочкой потрогал розеолы, чтобы увидеть, пропадают ли они от нажима. Он приказал немедленно вызвать фельдфебеля Ежека, коменданта госпиталя, и Ежек прибежал грузной рысью. Это был семипудовый, уже немолодой человек, владелец пивоваренного завода, и он совсем не умел бегать. Ежек, испуганно косясь на Новикова, выслушал приказание старшего врача и ушел готовить барак для больного. Новикову отвели маленький, совершенно отдельный барак вблизи мертвецкой, рассчитанный на двадцать-тридцать человек. Всех больных отсюда быстро перевели в другие бараки, и Новикова, запертого пока в околотке, отправили в освободившееся помещение. Он вошел туда, как медведь в берлогу, оглядел пустые койки и выбрал крайнюю,

возле двери. Я проводил его в барак, и мне было приказано сделать это, не подходя к нему близко. Он посмотрел на меня с любопытством и недоумением и спросил, почему его заперли в отдельный барак. Причины его заточения показались ему пустыми.

— Дураки,— усмехаясь сказал он,— оспы, что ли, не видели? Порябею и выйду, бывает тоже такое.

Он достал табак и отрывок замасленной бумаги и стал вертеть папиросу.

А в канцелярии у Ежека происходила трагедия. Туда были вызваны санитары всех бараков, и Ежек выбирал из них одного, кто заперся бы с Новиковым, чтобы обслуживать его во время болезни.

Никто не хотел итти.

Не соблазняло ни усиленное питание, ни новый костюм, обещанный Ежеком. Наконец в отчаяньи Ежек ухватился за Клима, малорослого и рябого парня с острым подбородком и блеклыми, выцветшими глазами.

— Ты рябой, ты болел оспой,— закричал Ежек,— ты будешь служить. Баста. Пршиказ есть пршиказ.

Клим не смог защититься и слабо махнул рукой. Ему велели собрать вещи и немедленно переходить к Новикову. Там был установлен строжайший карантин. Клима заперли вместе с Новиковым в бараке. Пищу и все необходимое им подавали через особое окошечко, прорезанное в двери, и никто не смел к ним входить. Ежек сам запер барак. Видно было, как малорослый Клим стоял рядом с огромным Новиковым, как медвежонок возле большого медведя.

Их жизнь в ближайшие дни стала предметом любопытства и ужаса всего госпиталя. Как водится, пошли преувеличенные слухи о чудовищной болезни Новикова, причем рассказчики утверждали, что Новиков вовсе и не болен, а знает какую-то очень важную тайну, и его держат взаперти, чтобы он эту тайну не выболтал.

В самом же деле два человека, запертые, как в клетке, вместе коротали страшные и унылые дни и ночи, причем один из них медленно гнил, разлагался и истекал гноем, а другой должен был наблюдать, как все это происходит. Мучения Новикова были ужасны. Огромное и могучее его тело, охваченное губительным ядом болезни, проявившейся на нем в самой свирепой своей форме, все гуще покрывалось розеолами. Розеолы вспыхивали каждый раз на новом месте, неумолимо захватывая все новые участки, покрыли лицо, нос и губы Новикова и все ближе продвигались к глазам.

К окошечку барака изо дня в день по вечерам прокрадывались люди и следили, как разрушалось и распадалось новиковское тело. Зрелище было так тяжело и действовало так угнетающе, что редко кто приходил смотреть по два раза. Казалось, что заглядываешь в раскрытую могилу, где смерть проделывала весь процесс своей работы. Труп жил, двигался, он, покачиваясь, ходил по своей просторной могиле, какие-то глухие звуки исходили от него, но смерть владела им, и он заживо разлагался на наших глазах.

Клим держался вдалеке от Новикова. Он мучился, пожалуй, не меньше, чем Новиков, так как, отрезанный от живого мира, он должен был поневоле наблюдать страшную картину новиковского умирания. Смертная вонь душила его, но он не мог даже открыть окна, так как окна были заколочены по приказу старшего врача. Иногда было видно, что Клим сидит за две койки от Новикова и разговаривает с ним. Раз в день он смазывал Новикова, он лечил его. Большим куском ваты, покрытым мазью, он осторожно водил по его телу, снимая накопившийся гной и струпья и потом посыпал Новикова иодоформом. Лекарства и инструкции, как их употреблять, передавал Климу через окошечко врач. Врач в барак не входил. Австрийцы с совершенно непонятным для русских ужасом относились к этой болезни, и Пташек говорил мне, что он ни разу за всю свою жизнь не видал в Австрии больного натуральной оспой. Новикова врачи рассматривали издали и за все время ни разу не вошли в барак.

Первые дни своей болезни Новиков мог еще ходить. Издали видно было, как невесело поблескивали его глаза. Клим рассказывал потом, что Новиков не проявлял особой тревоги и не жаловался ему. Большая сила чувствовалась в этом человеке, и Клим целиком подчинялся ей. Новиков редко разговаривал с ним. Он много ходил даже тогда, когда болезнь совсем одолела его, и термометр показывал тридцать девять градусов с десятыми. Живучесть его была поразительна. Бывало, что он лежал совсем мертвый, залитый гноем, весь

обмотанный тряпками и бинтами, и вдруг вставал и начинал медленно ходить по бараку.

Раз на рассвете он запел. У него оказался глубокий, очень красивый бас, и было странно, что из его обезображенного рта льются такие чистые, прекрасные звуки. Так из черной закопченной трубы неожиданно вылетают клубы снежного белого пара. Новиков пел «Баргузина» и другие таежные песни, пел их с удивительной красотой и выразительностью, и Клим глядел на него, пораженный и потерянный.

Он путанно объяснял потом, что грусть и тоска, бывшие в этих песнях, проняли его, и он впервые пожалел Новикова. Ему открылась вся безысходная горечь этого умирания, и он стал расспрашивать Новикова о его семье и утешал его, доказывая, что от всякой болезни можно выздороветь. Новиков в ответ странно усмехался. То есть усмешки уже не было, оставалась только гримаса, пробегавшая по гнойным желтым тропинкам его губ, но Клим понимал ее, и ему уже не было так жутко вдвоем с Новиковым.

Он сдружился с ним, и хотя они говорили мало, но все больше узнавали друг друга и сближались между собой. Новиков, скупо роняя слова, рассказал про себя, про свое хозяйство и про семью, в особенности про старшего четырнадцатилетнего сына, которого он, видно, сильно любил и с которым вместе ходил на медведя. Лесная и прозрачная душа его просто и незаметно раскрывалась перед Климом, и Клим перестал брезговать своей работой и стал охотно делать для

Новикова то, что раньше делал с отвращением. Он смутно чувствовал какую-то несправедливость в том, что такое богатырское, великолепное человеческое существо должно зря погибнуть от проклятой болезни, и жалость и сочувствие к Новикову овладевали им все сильнее.

Наступило время, когда Новиков не мог уже ходить. Силы еще не покинули его, но нарывы покрыли подошвы его ног, и ступать стало невозможным. Он лежал, на своей постели, закинув назад голову. Лица у него уже не было — оставалась гнойная маска — полчища нарывов подступали к глазам — они облепили веки и ресницы, и Новиков знал, что он должен ослепнуть с минуты на минуту.

Невыразимые муки клокотали в нем, но он все еще держался и не давал себе воли. Он знал уже, что обречен на самую страшную смерть, какую только можно представить, смерть уже держала его и не давала ему никакой надежды спастись, и ночью, когда он думал, что Клим не слышит его, он тихо и глухо выл, как воет загнанный зверь.

Раз он пытался сесть, но прилип к простыне, а простыня к тюфяку, и руки его так болели, что он не мог ими подпереться. Руки были уже тяжелыми обрубками, они никуда не годились, и Новиков упал на подушку.

К вечеру он ослеп. Он хотел раскрыть глаза и не мог, нарывы захватили их и потушили навсегда. Тогда он заплакал по-волчьи, давясь своим плачем и выпле-

вывая его кусками, и Клим подбежал к нему и стоял молча, потому что видел, что нельзя было и нечем было утешить Новикова. Он захотел перевязать его, подложить ему чистые простыни, но ничего нельзя было сделать. Вместе с тряпками и бинтами отрывались куски тела, и Клим отошел в смятении...

Этой ночью Новиков стал отпевать себя.

Прекрасным своим басом, каким-то невероятным путем сохранившимся в его разложившемся теле, он запел «Со святыми упокой». Пел он долго, с полчаса, и потом затих.

Клим оделся с головой и заткнул уши, чтобы не слышать его пения. Он рассказывал, что замучился так, что хотел повеситься и вообще потерял себя совсем. Хотел вышибить окно и убежать, но вспомнил, что Новиков останется один, и пожалел его. С трудом он долежал до утра.

Утром он пошел смотреть на Новикова. Новиков лежал неподвижно. Гной капал с постели на пол, и на полу образовалась четырехугольная гнойная рамка — по размеру кровати. Огромное тело вздулось еще больше. Клим окликнул больного, но тот не отвечал, хотя грудь его еще вздымалась от дыхания. Так он пролежал еще более суток — не стонал, ничего не говорил и не двигался.

Потом умер. Грудь его перестала вздыматься — и все.

Возможно, что в последний день Новиков был без сознания, но Клим думал, что он все слышал и просто не хотел говорить.

— Сильный был человек и, видно, очень хороший,— говорил потом Клим.— От таких мук сам господь в черти запишется, а он до конца продержался.

И вдруг, расплакавшись, этот малорослый и хилый человечек стал рассказывать о том, что он полюбил страшного Новикова, полюбил и жалеет так, что не забудет его всю жизнь.

Ежек принес ему новый костюм, но Клим не хотел брать его. Взял только на следующий день.

Уговорили товарищи.

Новикова не отнесли в мертвецкую. Его хоронили прямо из барака в специально сделанном очень широком гробу, куда, укутанное во многие простыни и густо залитое дезинфекционными веществами, было положено его тело.

Восемьдесят восьмой барак, где он умер, долгое время стоял пустым. Его дезинфицировали несколько раз, и хотя нужда в помещениях была большая, старший врач все оттягивал его заселение. Он так и остался самым мрачным бараком в нашем госпитале, и его прозвали бараком смерти. Потом туда стали класть особо тяжелых больных. Когда в лагере двое пленных заболели азиатской холерой, их поместили в этом бараке. Несколько часов оба они, почерневшие и похудевшие, непрерывно корчились, точно проделывали жуткую гимнастику смерти. С мертвыми, остеклевшими глазами больные извивались на своих постелях. Ноги их судорожно поднимались к подбородку и выпрямлялись. Ру-

ки делали беспорядочные движения. Неопытные санитары боялись подходить к больным и с суеверным страхом глядели на их извивающиеся тела. После их смерти барак опять продезинфицировали. Наконец, его отвели для туберкулезных третьей стадии — людей, у которых не оставалось никакой надежды вернуться в Россию.

В этот барак всегда было тяжело входить. Тиф протекает сравнительно быстро. Несколько дней решают судьбу больного. Даже в самом тяжелом положении для него все же есть надежда на выздоровление. Если кризис миновал благополучно, и прекратились жестокие штурмы болезни, полумертвый и обессилевший человек все же чувствует первое облегчение и невыразимое блаженство отдыха. Туберкулез же в третьей стадии в лагерных условиях означал смерть. Он держал больного мертвой хваткой, душил его медленно и беспощадно, он заставлял его со свистом и бульканьем втягивать воздух изодранными в клочья легкими и, хватаясь руками за грудь, задыхаться и выкашливать последние куски жизни.

Туберкулез высушивал человека, он выедал живое мясо на костях и зловеще показывал всю утлую постройку человека — решетку его ребер, узлы костей на коленях, утесы бедер и лопаток и узкие балки ключиц — весь костяк, пока еще прикрытый непрочной, похожей на серую бумагу кожей.

Примерно пятьдесят процентов пленных были больны туберкулезом, и ежедневно во всех лагерях Австро-Вен-

грии десятки и сотни людей погибали от этой болезни. Как ни свирепствовал тиф, туберкулез бил нас гораздо ощутительнее. Слабые анемичные организмы плохо сопротивлялись ему, он разрушал их не торопясь, в течение месяцев и годов, пока не добивал окончательно.

Большая часть туберкулезников жила не в госпитале, а в лагерных бараках. В госпиталь клали только тогда, когда человек становился совершенно нетрудоспособным, когда обессилевшие руки уже не могли держать лопаты, и он сваливался на свой тюфяк. Тогда его брали в восемьдесят седьмой барак, где сто двадцать коек стояли тесными рядами, почти соприкасаясь одна с другой. Восемьдесят седьмой барак был преддверием восемьдесят восьмого — барака смерти, откуда выход был один: на кладбище. Тут давали жалкую диэту. Больным полагалось молоко — синеватая жидкость, похожая на раствор извести, и сто грамм мяса в день. Иногда врач выписывал «шумку» — тоненький ломтик ветчины, на который обитатели всего барака смотрели голодными, завистливыми глазами. Жизнь людей в этом бараке зависела в первую голову от хорошего питания, и если у кого-нибудь из больных были кое-какие средства, он имел шансы выкарабкаться отсюда. Лишний фунт хлеба, литр молока и немного масла и сала, покупаемые ежедневно, делали чудеса. Но все это стоило слишком дорого, и Юра-грек, поставлявший всю эту роскошь, не часто заходил сюда, так как имел тут мало заказчиков.

Чтобы достать пищу, больные шли на что угодно.

В правом углу, за дверью, лежал Козявкин, на зем-

листом, безрадостном лице которого светились черные фанатические глаза. Козявкин был начетчиком-старообрядцем, не расставался с маленьким евангелием и однажды бросился с ножом на одного больного за то, что тот выдрал лист из евангелия на курение. У него была вторая стадия туберкулеза, силы его быстро убывали, и он молился по ночам, в коридоре между ванной и уборной, где его никто не мог видеть, выпрашивая себе у бога выздоровление. Он рассказывал, что однажды ночью ему было видение. Ему показалось, будто он сидит за столом в светлой комнате, и вдруг чьи-то невидимые руки поставили перед ним на стол сковороду с шипящей золотистой яичницей. Козявкин решил, что сон послан ему, как указание свыше, и что яичница может ему помочь. Денег у него не было, и достать было негде. Все его имущество состояло из рваных шароваров и гимнастерки, которые не стоили и двадцати геллеров, а развалившиеся буцы, подвязанные веревочками, не соблазнили бы никого и даром. Тогда Козявкин пошел на преступление. Он продал казенное одеяло, хотя знал, что за это сильно поплатится. Он сбыл его Мухамединову, самому отчаянному скупщику краденого в нашем лагере, и деньги сейчас же передал Юре на яйца. Все это он проделал утром, рассчитывая, что на один день он как-нибудь скроет отсутствие одеяла, а там уж будет все равно. Юра честно принес яйца, он боком просунулся в дверь и положил пакет на козявкинскую постель, и Козявкин отправился в кухню, где уже сговорился с кухарями. Он вернулся

бледный от счастья и жадности, держа обеими руками сковороду с великолепной, яркой как подсолнечник яичницей, и поставил ее на постель, но долго не решался начать есть. Он ел очень медленно и долго, вылизал всю сковородку и, глубоко вздохнув, лег на постель, ожидая наказания за проданное одеяло. О пропаже доложили фельдфебелю Ежеку, Ежек прибежал рассвирепевший и набросился на Козявкина. Козявкин обстоятельно и спокойно рассказал ему, что он умирал и что только яичница могла его спасти. Он так радостно и с таким сознанием своей правоты смотрел на Ежека, что оторопевший чех не решился его наказать и, пробормотав: Ты сешь блазен, человече (ты сошел с ума, человек),— ушел из барака.

Яичница, впрочем, Козявкину не помогла. Через две недели ему стало плохо: усилился кашель, и начались изнурительные ночные выпоты. Он дождался самого страшного для обитателей своего барака момента — перевода в восемьдесят восьмой барак. Перевод в этот барак означал для больных приблизительно то же, что для арестантов — перевод в камеру смертников.

Врач подошел к Козявкину во время утреннего обхода, посмотрел на его лицо, на опавшую грудь, откинул одеяло и задумчиво потрогал колени и икры. Козявкин взволновался ужасно, его черные глаза туманились и вспыхивали, руки неловко ходили по простыне, и левую щеку часто подергивало. Врач проделал с ним обычную процедуру. Он посадил его, велел дышать глубоко, потом не дышать, послушал и высту-

кал спину и грудь и ушел, ничего не сказав. Козявкин отчаянным взглядом смотрел ему вслед, но спросить не решился.

А после обеда рысью прибежал Гузек, комендант барака, и, избегая смотреть на Козявкина, велел ему собираться. Козявкин побледнел и как-то сразу осунулся. Он с мольбой посмотрел на Гузека и сказал, что останется до завтра, он хочет попросить врача не переводить его в восемьдесят восьмой барак, так как чувствует себя лучше. Гузек, не любивший тяжелых сцен, ушел и прислал двух санитаров с носилками. Козявкин не хотел итти, он вцепился руками в края койки, но санитары равнодушно отодрали его руки, положили на носилки и унесли.

На следующий день я видел его в восемьдесят восьмом бараке. Он ждал врача, он хотел объяснить, что тут ему будет гораздо хуже, что он здесь погибнет от одного воздуха и от сознания, что его обрекли на смерть. Врач пришел, и Козявкин рванулся к нему:

— Подохну здесь, помилуйте, переведите обратно,— с плачем и кашлем завопил он, простирая к врачу руки.

Было его ужасно жалко. Он напоминал муху, попавшую на липкую бумагу и с отчаянным жужжанием рвущуюся на свободу.

Обратно его не перевели. Он был на исходе.

Редкий день не проходил без того, чтобы из восемьдесят восьмого барака не выносили кого-нибудь в мерт-

вецкую. Сюда чаще, чем в другие бараки, наведывался Кашек, заведующий мертвецкой, и больные, знавшие, что он приходит посмотреть, нет ли кандидатов на гроб, встречали его с яростью и страхом и закрывались с головой, чтобы он не мог видеть их лиц.

Самым губительным временем для обитателей госпиталя была весна. В чудесные, теплые богемские ночи в апреле и мае нельзя было пройти возле восемьдесят восьмого барака. Через узенькие оконца, через хилые, щелистые двери доносился надрывный кашель, глухие свистящие стоны и вскрикивания. Больные плохо спали по ночам. И тех из них, которым удавалось уснуть, будили стон и кашель товарищей.

Меня позвали сюда как-то ночью впрыснуть морфий умирающему пленному. Воздух здесь был невыносимый — смрад разложения заполнял его, и было страшно вдыхать испарения насыщенной коховскими палочками мокроты и пота больных. В бараке был сумрак от прикрученных ламп, и лица и фигуры больных казались уродливыми — нестерпимо было зрелище полумертвых людей, смотревших черными провалами глаз. Несмотря на позднее время, многие сидели на кроватях — лежать им, очевидно, было трудно — кашель тогда сильнее мучил их.

И все же тут в этом перезвоне кашля, стонов и отхаркиваний шла обычная будничная жизнь. Кто-то тихо рассказывал о своей деревне, о том, что сейчас у них уже начали сеять и что хорошо бы сейчас быть там. Возле рассказчика курили, затяжки освещали ямки ссох-

шихся щек и острые носы, рассказ внимательно слушали, и когда рассказчик, воодушевившись, поднял тонкую, картонную руку, все смотрели на него спокойно и сосредоточенно, и ни одной насмешки я не прочел на окружающих его лицах.

Значит, и тут шла своя жизнь, и тут люди что-то делали, на что-то надеялись. Фельдшер этого барака говорил мне, что только первые дни больные нервничали и тосковали. Потом они свыкались и обживались здесь и, как это ни дико, чувствовали себя даже хорошо и спокойно. Их не смущало даже то, что рядом умирали их товарищи.

— Он вот умер, а я еще живу,— думал каждый из них,— так может быть и выживу.

А я за все время знал только двоих из этого барака, которые выбрались отсюда,— остальные все перемерли. Их одного за другим перетаскивали в мертвецкую. Весна добивала их беспощадно.

Ежедневно происходили похороны. Похороны были праздником для обитателей лагеря и госпиталя. На похороны выпускали пленных, они могли пройти за гробом по просторной дороге, обсаженной деревьями, мимо лавочек и аллей, где сидели и гуляли женщины и дети, послушать пение лагерного хора и оркестр.

До тифа хоронили у нас очень торжественно. Прекрасный лагерный хор с русскими басами и еврейскими тенорами пел грустно и красиво, оркестр играл погребальный марш Шопена — и из окрестных деревень на похороны всегда сбегалось много народа.

И вот в мертвецкую заходили больные посмотреть, нет ли там трупов. «Мертвая канцелярия» Кашека работала без перебоев. Дикий виноград вился по ее стенам, лютики в изобилии росли у дверей и в самой мертвецкой слышалось веселое чириканье. Под стрехами крыши, как раз над нарами в ряд лепились ласточкины гнезда. Взрослые ласточки неутомимо носились по мертвецкой на волю и обратно в мертвецкую, они шныряли в открытые двери, и скоро у них появились птенцы. Птенцы высовывали желтые пушистые головки, вертели ими и с любопытством разглядывали черные тусклые гробы и голые человечьи ноги, торчавшие из-под простынь. Их помет падал на гробы и нары, Кашек ругался и грозил вымести все гнезда ласточек. Но почему-то он не трогал их. Может быть в его деревянной душе мелькало смутное сознание того, как прекрасна эта молодая птичья жизнь, дерзко зародившаяся здесь, в его мертвой канцелярии и разраставшаяся буйно и весело над разлагающимися трупами.

Ранние утра были прекрасны в лагере. Золотые проволоки солнечных лучей протянулись к нам через хвою соснового леса. Лес был на горе. Медные сосновые стволы стояли вымеренными рядами, и ровные просеки уходили вглубь. Они уходили на запад, и ясными вечерами снизу из нашего госпиталя казалось, что далекие их края завалены стогами горящего сена. Кучки людей стояли за изгородью из колючей проволоки, отрезавшей госпиталь от остального мира, и подолгу смотрели сквозь просеки на закат. Их прогонял австрий-

ский капрал. Он считал, что русским пленным нельзя вечером оставаться у забора. Никто, конечно, из этих замореннных болезнями и пленом людей не задумал бы бежать, но суровая дисциплина предписывала, чтобы к вечеру люди были в бараках.

Белые простыни облаков сушились в небе, и небо синело сквозь их прорехи. Поросшая травой и цветами гора подымалась от ворот госпиталя к лесу. Чудесные узоры цветов нарушались черными ранами. Это были выжженные куски земли на тех местах, где сжигались соломенные тюфяки умерших заразных больных.

У самой мертвецкой начинались клумбы цветов. Астры, гвоздики, настурции и пионы только распускались, и, стоя спиной к баракам госпиталя и к мертвецкой и глядя на гору и лес, можно бы и в самом деле подумать, что тут мирный, прекрасный уголок. Но по пути взор встречал серых колючих жучков — стальные острия, колючие узелки на нашем проволочном заборе. И сквозь запах цветов стлалась трупная вонь мертвецкой. И тогда вся эта радость весеннего пробуждения и расцвета казалась нам словно нарочно наклеенной и неправдоподобной здесь, где все — бараки, колючая проволока и часовые означали наше горе и страдания.

Старшим врачом у нас был доктор Брзорад. Среднего роста, плотный и коренастый, с голубыми расчетливыми глазами, с толстым задом, туго затянутым в рейтузы, он каждый день в двенадцать часов появлялся

в нашем госпитале и проходил в канцелярию. Он был не плохой человек, но трусость и страх потерять свое спокойное место в тылу часто делали его черствым и жестоким. Он заискивал перед генералом, начальником лагеря, и часто приглашал его в свое имение, находившееся в нескольких десятках километров от лагеря, поохотиться и погостить. Наши госпитальные австрийцы боялись его и не очень ему доверяли. Он любил кричать на них и грозить отправкой на фронт, а они стояли перед ним покорные и жалкие, опустив глаза и вытянувшись. Впрочем он скоро остывал и ходил по баракам с самодовольным лицом, видимо гордясь своим положением маленького самодержца. Он был хирургом, и поэтому у нас в госпитале лучше всего был поставлен хирургический барак. Старший врач бывал тут ежедневно, он любил делать операции и делал их очень часто. Его ассистентами были молодые врачи — Иха и Гусачек. Он оперировал смело может быть еще потому, что никто не мог его здесь контролировать и пленные были хорошим материалом для опытов, с которым можно было не стесняться.

После больших боев с фронта присылали партии раненных русских солдат. Для их встречи на вокзал в Лису высылались телеги, устланные сеном и простынями, и отряды санитаров с носилками. Из вагонов выносили разбитых, искалеченных людей. От несвежих перевязок шел острый запах гноя. Старший врач обходил раненых и расспрашивал, кто куда ранен. Он казался довольным тем, что к нему в госпиталь прибывает

много новых больных, так как боялся, что госпиталь захиреет из-за недостатка пациентов. Раненых укладывали по двое и по трое на телегу и медленно везли в бараки. Транспорт растягивался почти на километр, раненые вскрикивали и стонали, некоторые впадали в забытье и бредили. В хирургическом бараке их принимал Фурсов, сильный, иссиня-смуглый армянин с большими черными усами и глазами на выкате, истеричный, казавшийся многим непонятным человек, склонный к жестокости, но прекрасный работник. Старший врач очень им дорожил и давал ему много воли.

Работа в перевязочной шла в эти дни до самого вечера. Фурсов, другой фельдшер Дроздов, Васька Шубин и я работали под наблюдением старшего врача и доктора Ихи.

У новых больных попадались ужасные раны. У одного была разворочена вся спина, и кусок ее в тарелку величиной был совсем вырван. Больной мог лежать только на резиновом круге, отверстие которого приходилось на рану. У другого было прострелено горло, ему вставили серебрянное горло, и пока Иха, вынув его, промывал, больной свистел и задыхался, выпучив глаза и беспорядочно махая руками. У третьего запухла и почернела раздробленная шрапнелью нога, и Брзорад, осмотрев ее и сморщившись от вони, шедшей от раны, назначил немедленную операцию. Фурсов наглухо забинтовал ногу, стонущего и всхлипывающего больного перенесли в операционную и положили на стол. Нога давно уже мучила больного, все его тело раздирала

колючая непереносимая боль, он уже две недели не мог спать, и когда Брзорад весело спросил его, хочет ли он отрезать ногу, больной согласился. Ногу возле того места, где надо было резать, густо смазали иодом, доктор Иха выше колена обвязал ее резиновой трубкой и затянул так туго, что резина почти до кости впилась в мышцы, и они побелели оттого, что отхлынула кровь. Старший врач надел тонкие резиновые перчатки и стал мыть руки в растворе сулемы, Гусачек покрыл лицо больного маской и накапал на маску хлороформ. Больной считал: раз, два, три, четыре и долго не сбивался, только голос его становился монотоннее и приобретал какой-то неприятный тембр. Брзорад подошел, держа впереди руки с растопыренными пальцами, спросил, все ли готово и, не дожидаясь ответа, потребовал скальпель. Инструменты, прокипяченные на спиртовке в узком никкелированном ящике, были разложены в плоском фарфоровым тазу, и Фурсов, захватив скальпель щипчиками, подал его старшему врачу. Брзорад самодовольно поглядел на нас и, не примеряясь, сделал скальпелем глубокий круговой надрез. Мышцы разрезались все глубже, и Иха ловко завернул их вверх, как рукав рубашки. Брзорад уже скоблил кость и, взяв пилу, стал пилить. Я держал ампутируемую ногу, ее сдвинули со стола, и, по мере того, как перепиливалась кость, я чувствовал, как тяжелела нога в моих руках. Брзорад допилил, кость взвизгнула в последний раз, и я едва удержал ногу — я никогда не думал, что человеческая нога может быть такой тяжелой. Иха

помогал Брзораду отыскивать вены и артерии и захватывать их зажимами. Артерии и вены туго перевязывали шелковой хирургической ниткой, которую подавал Фурсов, вытаскивая ее щипчиками из стеклянной трубочки со спиртом. Рану промыли, обильно заложили иодоформовой марлей и, отвернув кожу, зашили ее отдельными стежками. Гусачек похлопал больного по щекам, и тот открыл удивленные глаза. Брзорад хвастливо спросил его, не больно ли ему, и сказал, что теперь ему будет покойно, нога отнята начисто. Человек дернулся. Сознание его еще было затуманено, но все же лицо его задрожало, когда он ощутил странную легкость в отрезанной ноге. Он закрыл глаза, две слезы выкатились на ложбинки носа, и больной стал засыпать.

Его унесли. Ногу отправили в мертвецкую и положили в гроб какого-то умершего пленного.

На перевязки брали всех свободных фельдшеров и медиков. Работали по два раза в день — до и после обеда. Обычно перевязки проходили очень мучительно для больных. Приходилось долго поливать раны теплой водой, пока от них отставала присохшая марля и вата. Но Фурсов отдирал перевязку резко и жестоко, не смачивая ее, и только улыбался, когда больной кричал от боли. Улыбка у него была недобрая. Что-то нехорошее проглядывало в этом человеке. Я застал его однажды утром, когда он перевязывал Голидзе, грузина с ампутированной правой рукой, всего покрытого порезами и дренажами. Голидзе кричал

от боли, и обрубок его руки дергался кверху, как короткий собачий хвостик.

— Тише, пожалуйста — больно,— кричал грузин.

— Мне не больно, — убеждающе ответил Фурсов, направляя розовую струю сулемового раствора на рану грузина.

— Ты жалостный будь, — умолял грузин,— умру...

— Умрешь,— согласился Фурсов.— Разве такого жалко? Куда ты годишься?

— Жена есть, дети есть,— серьезно и испуганно сказал грузин.

— Куда им такое барахло,— равнодушно процедил Фурсов,— и без тебя проживут... Жена молодая?

— Молодая,— с отчаяньем и любовью прошептал грузин.— Красивая...

— Ну, если красивая...— последовала циничная фраза.

Голидзе вскрикнул и ударил Фурсова головой в зубы. Фурсов, не торопясь, повалил его на стол и стал что-то делать над его раной. Голидзе издал рев.

— Кричи, кричи,— тихо увещевал Фурсов,— ведь я перевязываю... Ну...

Маслянистые звуки скользко ползли из его рта. Голидзе визжал и дергался.

Я подошел.

Мелкий пот покрывал лоб Фурсова. В глазах мерцали красные угольки сладострастья. Он спокойно вытащил пальцы из раны Голидзе и облизнул губы синим языком.

С партией хирургических больных привезли и одного офицера — штабс-капитана Агронова. Он попал к нам случайно, так как тяжелое состояние его здоровья не позволяло везти его в офицерский лагерь. Старший врач принял его с большим почетом, называл его пане капитан и велел для него очистить отдельную комнату в хирургическом бараке, где жил австрийский капрал, временно выселенный отсюда.

Агронов был небольшой, но очень тучный человек, на жирном лице его неприятно поражал слишком тонкий нос, но круглые теплые глаза глядели ласково и немного тупо. У него была пулевая рана в области живота. Живот у него вздулся и сильно болел — ему грозила скверная болезнь — воспаление брюшины. Четверо людей с трудом внесли его в комнату. Он смотрел со страхом и испуганно просил, чтобы его не уронили. Он боялся разбудить дремавшие боли, тоненькие стоны исходили из его горла, и весь он, толстый и рыхлый, мало походил на боевого офицера. Брзорад назначил меня к нему. Я должен был ухаживать за ним, давать лекарства, мерять температуру и следить за перевязкой.

Агронова уложили в постель. Его круглые глаза медленно обежали комнату и остановились на мне. Он стал расспрашивать про наши госпитальные порядки и про врачей. Пожаловался, что его сильно растрясли дорогой, и, поманив меня пальцем, приподнял голову. В его глазах смешались страх и надежда, и он шопотом спросил меня, что говорил врач о состоянии его здоровья. Я, как мог, успокоил его.

Он забылся, закрыл глаза и лежал, тихо посапывая. На ночь мне поставили складную кровать. Агронов попросил не прикручивать лампы, вид у него был беспокойный, бурые пятна появились на лице, и круглые глаза метались в тоске. У него начались сильные боли в животе, и морфий не помогал ему. Он то забывался, то бодрствовал. Я заснул.

...Я сразу узнал местность. Перед нами лежала деревня Субботовка, еще накануне бывшая в наших руках. Полковник Назаров, наш полковой командир, назначенный к нам всего три дня назад, объезжал роты. Напыщенным голосом он говорил о доблести нашего полка и о славе русского оружия. Усталые и злые мы молча слушали его. Он требовал нашей крови, мы знали, что он хочет отбить у австрийцев Субботовку.

Противное стрекотание пулеметов наводило на меня уныние. Я не любил эти проклятые машины, прошивавшие человека пулями в двадцати местах сразу. Из кустов на дорогу выбежал наш первый взвод — он шел в атаку. Левофланговый Ушаков, белобрысый парень с утиным лицом, бросил винтовку и схватился за живот. Его тошнило и рвало. Так его рвало каждый раз во время боя: он не мог видеть, как убивают людей. К окопам подошел Васильев, наш ротный командир. Назаров появился откуда-то сзади.

— Ротный командир! — пронзительно закричал он.— Ведите же роту!

Васильев отдал честь и вышел вперед. Он был маленький и кривоногий, серые глазки его часто моргали.

Когда нас отправляли на фронт, его провожала жена, тоненькая красивая женщина с двумя девочками — его дочерьми.

— Р-рота! — дребезжащим голосом скомандовал Васильев. — Слушай мою команду. — Он всхлипнул. — Рота, в атаку, вперед, ура...

Голос у него сорвался, он выхватил маленькую сабельку и побежал вперед. Фельдфебель казенным голосом подхватил «ура» и, грозя револьвером, стал подымать людей из окопа. Они вставали, как налитые свинцом. Васильев уже не бежал, он лежал на боку, зажимая руками живот, и глаза у него все чаще моргали и губы прыгали под реденькими соломенными усиками. Но голос его крепчал, он из тоненького тенора переходил в ревущий бас:

— Р-рота, в атаку, рота, ура!..

Я проснулся. Агронов тяжело водил по воздуху правой рукой, и кричал командующим голосом:

— Р-рота, в атаку, р-рота, ура!

Я подошел к нему. Он был в сильном жару. Я попробовал дать ему лекарство. Толстые губы его разжались легко. Он уставился на меня и смотрел так долго, что мне сделалось неприятно. Я спросил его, как он себя чувствует.

— Вы вот что, юноша, — как бы не слыша вопроса, спокойным голосом сказал он. — Вы давно уже здесь?

Я ответил ему.

— Второй год, — повторил он, — и что же, очень вам плохо?

Я рассказал ему, что в плену плохо, что мы все не можем дождаться конца войны.

— Плохо, плохо?— возбужденно выкрикнул он.— А на фронте, на фронте как?

Лицо его вдруг сморщилось и сжалось. Приступ жестокой боли свалил его. Он застонал, руки его подымались к животу и опять опускались.

— Ух-ты, ух-ты,— скороговоркой начал он,— болит то как, боли-и-ит.

И тоненьким голосом попросил:

— Посмотрите, на дворе ночь? Нет времени хуже ночи для больного,— сказал он после короткого молчания.— Здоровому она в утешение и отдых. Вам, небось, спать хочется?

Боли одолевали его. Боясь шевельнуться, он лежал на спине и быстро шевелил пальцами.

— Мучит проклятая рана,— тихо сказал он,— боюсь, не выживу, подохну здесь.

Я сказал ему несколько утешительных фраз, обычных в таких случаях.

Толстые и все еще красные губы Агронова пошли злой улыбкой.

— Я и сам людей утешал,— пробормотал он и быстрее зашевелил пальцами,— боли видно усилились,— утешал и не верил себе. Когда нашему батальонному, подполковнику Корну, шрапнелью вывороти весь живот, и он лежал на земле в собственных кишках, я говорил ему: «Не беспокойтесь, полковник, вот вас перевяжут, и все будет в порядке». Да, в порядке. У него

лицо землей пошло, по лицу смерть, как большая вошь, ползет, а я его утешаю.

Он подпрыгнул всем своим грузным телом и заплакал. Маленькие и кругленькие слезы камешками прыгали по его заросшему лицу, и он, всхлипывая, слизывал их языком.

— Платок, платок дайте,— сказал штабс-капитан.— Видите, рук не могу поднять, вытрите у меня эту слякоть.

Он откинул голову и посмотрел в окно.

— Темно,— прошептал он,— господи, какие же длинные ночи, те-е-мные, че-е-рные...

Уговоры на него не действовали. Сон не брал его.

— Сколько, вы думаете, еще таких ночей проведу я? — говорил он.— Три, ну, четыре, и в дощечки положат.

Он со свистом выдохнул воздух, опять заплакал и сквозь плач начал скверно ругаться.

— Почему меня убили,— визжал штабс-капитан,—ведь я живой, я толстый, я жить хочу... Молебен, сволочи, служили, дамы поздравляли и подносили цветы... с чем поздравляли? За царя мы шли, а видели вы царя? Я видел на фронте. Ростом он не вышел, нос толстый, в глазах красные жилки — пьет он, что ли? Штаны сзади обвисли, выправка плохая, голос сиплый, все ус крутил, а что он понимает, ведь сразу видно, что ни хрена... Я себе царя представлял, как Исаакиевский собор — одним видом, думал, задавит, а тут ей-богу же не до него, и без того тошно. Так ради кого же меня убили?

Агронов бредил, говорил все бессвязнее. Лишь на утро он забылся и, забывшись, захрапел так сильно, что я не мог уснуть.

Утро не принесло ему радостей. Боли у него возобновились, и он беспрерывно кричал. Ему опять впрыснули морфий, и он затих.

Ожидали прихода старшего врача. Агронов позвал меня.

— Вот что, вольноопределяющийся,— хмуро сказал он, не глядя на меня,— я вам вчера разной чепухи наговорил, так вы все это не принимайте за правду... Больной человек... печень опухла... пузырями идет... вот...

Ласковая тупость исчезла из его глаз, когда он быстро и украдкой посмотрел на меня, из них брызгали страх и ненависть. Этот жалкий и немощный человек боялся своего отчаяния и возмущения, невольно выданных им мне, солдату, нижнему чину.

Ведь царская Россия владела нами даже здесь, на территории Габсбургов, и вся наша жизнь проходила под знаком будущего возвращения на родину. И Агронов смотрел на меня офицерским взглядом, а я думал о том, как в сущности ничтожны, неправильны и противны человеческие отношения. Чего боится этот бедный толстяк, вдруг ощутивший на себе власть мундира? Перитонит ведь для него теперь страшнее царя.

Пришел старший врач. Он пожал Агронову руку и осмотрел его. Он пошутил с ним и своим каркающим голосом пообещал ему выздоровление и возвращение

в Россию к жене и детям. Штабс-капитан всхлипнул, обеими руками схватил руку старшего врача и потянул ее к своему лицу, как бы намереваясь поцеловать.

— Голубчик, пан доктор,— с каким-то нечеловеческим напряжением сказал он, и лицо его дергалось, как работающий в полную силу мотор,— только бы не умереть... жить бы только... помогите, не оставьте...

И Брэорад похлопал штабс-капитана по спине и еще раз пообещал ему выздоровление. Выйдя со мною в другую комнату, он деловито посмотрел на часы и сказал, что капитан умрет еще сегодня ночью.

Я вернулся в комнату больного. Надежда преобразила его. Круглые глаза глядели с обычной ласковостью. Он поел с аппетитом, сочно почавкивая. После еды попыталея даже запеть, но сразу затих и настороженно посмотрел на меня.

— Боли,— недоверчиво сказал он,— откуда боли? Разве мне не лучше?

И он боролся до самого вечера, не сдаваясь страху и мукам болезни и пытаясь противопоставить им последние клочья своего мужества и надежды. Вечером он сдался. Он потребовал старшего врача, обманувшего его, чтобы узнать, почему он так мучится. Нельзя было успокоить его. Страх смерти пронизывал его — он ни за что не хотел умирать.

— Голубчик, фельдшер, вольноопределяющийся,— шептал он, весь уже раскрывшись и не пряча своего смятения и ужаса.— Вот я весь перед вами, больной

и несчастный, спасите и обороните. Не хочу умирать здесь. Как в луже меня топят.

И рот его разворачивало дикими судорогами, и было невыносимо видеть его вздувшиеся глаза, щенячьи и молящие.

И плача и подвывая, он рассказал мне о том, что я уже знал по себе, обо всех пытках, перенесенных им на фронте, о вечном, хотя позже и притупившемся страхе смерти, о том, как весь он иссекся и измотался, и наконец о своей ране, положившей, как ему казалось, предел его мукам. Он думал, что все кончено для него, и на этом успокоился, то есть не успокоился, а примирился, истощенный и усталый, желая только конца и отдыха, и вот его подобрали австрийцы, лечили, и он опять стал надеяться, что выживет. Теперь он не может умереть в этих черных бараках, в этой гибельной дыре. Он связан по рукам и по ногам, он на бойне.

— Спасите же меня, голубчик, фельдшер, вольноопределяющийся...

Вечером пришел дежурный врач, доктор Швейцер, высокий, заикающийся юноша в длинном сюртуке, похожий на неудавшегося пастора. Он важно и медлительно, точно заикаясь и в движениях, как в разговоре, пощупал Агронову пульс. Беспомощность его была так очевидна, что Агронов, не дожидаясь ухода врача, угрюмо отвернулся к стене. Ему вдруг стало легче. Он попросил чаю и выпил его мелкими глотками. Желтое лицо его порозовело.

— А ведь старший врач молодец,— весело сказал он,— не то, что эта вермишель, эта длинная сопля, доктор Швейцер.

И, хихикая, он стал издеваться над чехами, над их речью, которая казалась ему исковерканным русским языком, и говорил, что старший врач побоялся плохо лечить его, русского офицера, так как на пленных офицеров будто бы ведется особый учет, не то, что на солдат. Дрянненький его характер проступал опять, как плесень на штукатурке. Он начальственно посмотрел на меня и сказал:

— А принесите-ка мне, вольноопределяющийся, еще стакан чая.

Я принес ему чай, и он потребовал, чтобы я поставил его на стол, он хочет выпить его сидя. И он, действительно, поднялся, прошел к столу и стал пить чай, молодецки причмокивая и позванивая ложечкой.

В глазах его была важность, довольство собой и ласковая тупость. И вдруг они стали другими — унижение, страх и мольба мелькнули в них.

— Голубчик, фельдшер, волноопределяющийся,— прочел я в его глазах.

Штабс-капитан держал стакан у рта, и стекло хрустнуло, когда его зубы свело последней судорогой. И, глядя на меня собачьим взглядом, он встал и повалился лицом вниз. Доктор Швейцер удостоверил смерть, и четверо людей с трудом стащили в мертвецкую тучное тело Агронова.

На следующее утро комнату дезинфицировали. Лю-

бучек, австрийский капрал, торопился вернуться в свое жилище.

Особняком стоял в госпитале восемьдесят пятый барак. Сюда клали людей с желудочными заболеваниями, выздоравливающих, больных с несложными перевязками, и тут же помещались несколько человек, прижившихся в госпитале, которых уже давно пора было выписать и которых все же не выписывали отсюда. Обстановка в бараке была совсем не больничная. Его обитатели уходили в лагерь, отпрашивались в город, и некоторые даже работали.

Первую койку от двери занимал Борухов, лучший лагерный парикмахер. Впрочем, неверно было бы назвать его только парикмахером. В этом подвижном, с черными глазами человеке жила какая-то неуемная энергия и жажда работы. Я никогда не видел Борухова без дела. Брил он и стриг мастерски, рука у него была легкая, бритье бархатное, и его клиентами были не только мы, военнопленные, но и австрийцы — офицеры и врачи, которых он завоевал своим искусством. У него был своеобразный талант: из человеческих волос, подбирая их по тонам и краскам, он с чисто китайским терпением, продергивая и закрепляя отдельно каждый волос, вышивал прекрасные вещи. Австрийцы ценили их очень высоко, и помню, каким успехом пользовалась лошадиная голова, вышитая Боруховым. Она действительно выглядела великолепно, и издали казалось, что это голова живой лошади.

Борухов не был жаден. Свои работы он часто дарил. Какая-то важная и подкупающая наивность была в нем. Уже немолодой, он учился, как ребенок, и брал уроки французского и немецкого языка. Помню, с какой радостью он повторял первые французские фразы, заученные им, и при этом с торжеством поглядывал на меня, как человек, достигший высших ступеней знания.

Рядом с Боруховым помещался Полини, единственный итальянец, прижившийся с нами, рослый белокурый парень, скорее похожий на немца, чем на итальянца. Он обладал чудеснейшим характером, был неизменно ровен и улыбался милой, немного грустной улыбкой. Вечером на его койке всегда сидело несколько человек, и Полини рассказывал им об Италии. Он был рабочим из Милана и, с трудом подбирая русские слова и больше помогая себе мимикой, рассказывал нашим солдатам, очень интересовавшимся жизнью чужих стран, про свой город и страну. Его обстоятельно расспрашивали о том, сколько получают рабочие разных профессий, могут ли они свободно собираться, сколько часов они работают в день, в каких квартирах живут, что едят, круты ли хозяева, трудно ли найти работу, дешевы ли продукты и одежда, какой хлеб сеют в Италии, и правда ли, что каждый итальянец умеет играть и петь?

Вечером восемьдесят пятый барак становился своеобразным клубом, и сюда приходили больные со всего госпиталя. Они не гнушались и не брезгали друг другом, и на койках рассаживались рядом и сифилитики, и туберкулезники, и люди, больные гастритом или

совсем здоровые. Как везде в общежитиях, пленные любили беседы и говорили на самые разнообразные темы.

На ночь бараки не запирались. В укромных уголках играли в карты. Играли в подкидного дурака, в «66», но больше всего в «двадцать одно». В госпитале и в лагере насчитывалось несколько профессиональных картежников, которые играли во всякое время и игрой только существовали. Располагая значительными по нашему бюджету суммами и хорошим опытом, они выигрывали чаще других. Были и два-три шулера, и с ними хотя и остерегались играть, но все же играли.Одного из них, Хорева, у нас звали меченым, по широкому шраму, пересекавшему его лоб. Хорева поймали раз в хирургическом бараке, когда он плутовал при помощи блестящего металлического портсигара: сдавая карты, он видел их отражение снизу в портсигаре и знал таким образом, сколько очков было у партнера. Его схватили и утащили в ванную. В ванне была грязная вода, в которой купали больных, и туда бросили связанного Хорева, погрузив его до самого носа, и чтобы он не мог поднять головы, ее через лоб обвязали проволокой, которую прикрепили к краям ванны. Хорев рвался, боясь захлебнуться, и проволока проела ему на лбу жестокую рану. Мне говорили, что эту пытку придумал и даже руководил ею Фурсов. Хорев с ним не играл, боясь его, но Фурсов любил смотреть, как издеваются над людьми.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ БАРАК

В восемьдесят пятом бараке был уголок, самый дальний от входа, где, отделенные от других, стояли в ряд восемь коек. Тут лежали больные, которых война наказала с особой жестокостью: эпилептики, идиоты и умалишенные. Потрясения, испытанные ими, разрушили их мозг — они перестали быть полноценными людьми, и безрадостное будущее ожидало их.

Раньше в бараке было несколько десятков таких больных, но их постепенно отправляли куда-то в специальный госпиталь, а тут оставляли только таких, которые не были опасны окружающим.

Первым лежал Хорин, «человек, который смеется». На фронте шрапнель разорвалась над самой его головой. пули миновали его, но грохот разрыва и страх смерти так потрясли его, что он сошел с ума. Углы его рта были растянуты и подняты кверху, под глазами залегли частые нарезы морщин, и все это создавало впечатление, будто Хорин всегда смеется. Те, кто видели его в первый раз, подходили к нему, улыбаясь, зара-

жаясь его смехом, но улыбка сейчас же исчезала с их лиц, когда они узнавали, в чем дело.

Вечный смех, искажавший хоринское лицо, действовал на нас скверно и тяжело, мы никогда не могли привыкнуть к нему, и Мухин, суздальский иконописец, богомольный человек, одно время лежавший в этом бараке, прибил над хоринской койкой бумажку с текстом из Иеремии:

— Горьким смехом моим посмеюся.

Сделал он это без всякой насмешки, даже с грустью, и верно, эти слова удивительно определяли смех Хорина: горький он был.

Хорин страдал полным отсутствием памяти. Разговаривая с кем-нибудь, он забывал, о чем говорит, и бывало, что, сказав начало фразы, замолкал и растерянно поглядывал на собеседника и потирал пальцем лоб. Выходя из палаты, он забывал, зачем вышел, и потом бродил наугад по баракам, не узнавая своего. Он помнил только события, происшедшие до войны, но и тут все чаще путал. Забывчивость расслабляла его мозг, и Хорин постепенно впадал в тихий идиотизм.

Его соседом был Армяков, которого у нас звали «разведчиком». Его однополчане рассказывали, что он сошел с ума ночью, будучи на разведке. В лесу он провалился в открытую яму, где гнили сваленные после боя трупы австрийцев, попал руками и лицом в разлезающееся человечье мясо и, несмотря на самые отчаянные попытки, не смог выбраться и про-

был в яме всю ночь. Очевидно то, что он испытал за эту ночь, было слишком много для него. Его вытащили с обрюзгшим лицом, со ртом, как-то странно скошенным на бок, и с белыми глазами. К одежде прилипли лоскутья буро-зеленого мяса и кожи с человеческими волосами. Он не хотел брать винтовки, и фельдфебель, не поверив его виду, избил его, и когда это не помогло, доложил ротному. Ротный был поручик запаса, присяжный поверенный. Он осторожно расспросил Армякова, и тот сурово сказал ему, что ночью его поймали черти и всю ночь заставляли есть человечину, и человечина эта вкусом как скисшая гречневая каша.

В тот же день полк участвовал в атаке. Армяков безучастно шел в бой, опустив голову, без винтовки. Он не ложился вместе со всей цепью, не обращал внимания на пули и, дойдя до колючих заграждений, остановился, закрыв лицо руками, и так стоял, пока его не взяли австрийцы. У нас он держал себя тихо и имел лишь одну странность: по ночам вылезал из кровати и, держа жестяную кружку, изображавшую фонарь, ползал по полу, осторожно пробираясь между койками и держа перед собой кружку. Это он представлял себя на разведке и светил фонарем, чтобы не попасть в яму. За все время плена он только один раз проявил буйство. Ночью австрийский фельдфебель Ежек обходил бараки, светя себе карманным электрическим фонарем. Он осветил и Армякова, и тот, ошалев от вспыхнувшего вдруг перед ним яркого света, вскрикнул и бросился на Ежека. Он выхватил у него

фонарь и запрятал его к себе под подушку. Дело скоро разъяснилось. Несчастный думал, что у него забрали его фонарь.

Третьим лежал Пучков «жалельщик». При высоком росте и могучем сложении он обладал тонким голосом. О прошлом этого человека никто не знал. Знакомых по России у него здесь не было. Он страдал жесточайшими припадками падучей, и во время припадков его огромное тело извивалось и билось, из-под полузакрытых век голубели белки закатившихся глаз, черную пену хлопьями, как у загнанной лошади, вышибало изо рта, и живот вздувался и опадал. Но между припадками Пучков был всегда грустен и тих, улыбался всем ровной улыбкой, в которой было много нежности и жалости к людям. Он ничего не помнил о своей прошлой жизни, и даже фамилию его могли установить только по находящимся при нем документам.

Раз или два в день он вставал со своей койки и отправлялся в путешествие по баракам.

Он приходил к умирающим и просиживал с ними подолгу, утешая их ласковыми словами или молча держа их руки. Больные любили его и принимали. Они рассказывали, что прикосновения Пучкова были удивительной нежности и легкости и что они действительно приносили им облегчение.

Раз ночью я застал его в бараке смерти, как называли в лагере помещение для туберкулезников третьей стадии, возле пленного Рябова. Рябов был так худ, что казалось, будто его одеяло свободными складками

лежит на постели и под ним ничего нет. Он умирал трудно, в сильных мучениях. Пучков молча сидел возле него. Левой рукой он держал руку Рябова и правой гладил его по голове. Так он просидел до рассвета — до самой смерти Рябова.

Меня часто занимала мысль,— откуда это у него? Он и в самом деле был жалельщиком, и любовь и жалость к страдающим людям свободно и широко исходили от него. Но иногда, наблюдая за ним, я думал, что в прежней своей жизни он был иным. Когда он спал, я заметил тяжелые и суровые складки на его подбородке, каменные, недобрые скулы и угрюмый, как брандмауер, лоб. Губы у него были тонкие и властные, такие губы не красят человека и говорят о жестоком характере.

И только перед самым концом плена мне удалось узнать о Пучкове. К нам в госпиталь попал его земляк, знавший его до войны. Оказалось, что Пучков был из Майкопа и служил там в полиции старшим городовым. Он отличался жестокостью, зверски бил заключенных и брал взятки. За год до войны вышел в отставку и занялся торговлей.

Врачи говорили, что Пучков не безнадежен, что с переменной обстановки он может выздороветь, и мне очень хотелось бы посмотреть на него теперь. Где он и что делает? Исчезла ли его великая жалость к людям, не стал ли он опять черствым и жестоким человеком, скупо и хитро оберегающим свои стяжания?

Возле Пучкова лежал поляк Вишневецкий, человек, спасенный от смерти Пучковым и едва не наделавший больших бед в нашем госпитале. Вишневецкого погубили германские «чемоданы» — снаряды сорокадвухсантиметровых орудий. Полет и разрыв таких снарядов угнетающе действуют на солдат. Чемоданы просекают воздух с густым, необычайной силы свистом и как бы расшатывают его. Падение чемодана сотрясает все кругом, и разрыв напоминает землетрясение. Высоко в воздух взлетает земля, камни и все живое, находящееся в районе разрыва. Снаряд выкапывает воронку, в которой может укрыться взвод солдат.

Вишневецкий сидел в своем окопе и поддерживал редкий огонь. Взводный послал его с донесением к ротному командиру. Он успел пробежать только несколько метров, когда чемодан попал в оставленный им окоп. Вишневецкого пронесло по воздуху, ударило лицом и грудью о землю. Он долго лежал оглушенный, кровь пошла у него из носа и ушей, затем он встал и вернулся к окопу. Все бывшие там были убиты. Вместо них остались клочья мяса, костей и одежды, смешанные с кровью, мозгом и грязью. В небольшой яме лежал взводный. Живота и ног у него не было, оставались только грудь и голова. Растопыренные руки лежали, как весла разбитой лодки.

Вишневецкому представилось, что и он лежит здесь со всеми, и что неверно, будто он жив. С тех пор у него и началось безумие. Ему казалось, что он всегда спит и только во сне видит, что он жив, а если про-

снется, то наступит мучительная смерть. И вот Вишневецкий много лежал, испуганно глядел на всех и просил не будить его. Он так уверился в том, что всегда спит, что это сознание не мешало ему и ходить, и есть, и разговаривать. Но все это он проделывал тихо и осторожно, и движения у него были связанные и робкие, как будто он нес полный стакан воды, которую боялся расплескать. Только один раз за все время ему показалось, что его хотят разбудить, и тогда-то с ним произошел припадок бешенства, едва не закончившийся трагически для него и многих больных.

Был в восемьдесят пятом бараке Пареньков, ничтожнейший человечишко, хвастун и забияка, любивший рассказывать про свои подвиги. Никто его не слушал и не любил, и в вечной жажде выдумать что-нибудь новое он плел такую пошлятину, что самые неприхотливые от него отмахивались.

Я часто замечал, что солдаты, побывавшие в боях, редко и неохотно рассказывали об опасностях, перенесенных ими. Такие рассказы считались как бы хвастливыми и неэтичными, и была какая-то прекрасная скромность и целомудрие в том, что о себе не рассказывали.

И вот этот Пареньков пристал к Вишневецкому и стал уверяет его, что тот вовсе не спит, и что он, Пареньков, может легко его вылечить. Возможно, что во вздорной голове его в самом деле бродила мысль вылечить Вишневецкого и утереть нос врачам, но только однажды, подойдя к нему и схватив его за плечи, он закричал ему:

— Ну-ка, поляк, вставай скорее, разбужу, разбужу тебя...

Вишневецкий сразу стал зверем. Он прыгнул на Паренькова, повалил его, потоптáл ногами и с рычаньем бросился из барака. У него появилась необычайная сила. Санитара, загородившего ему выход, он поднял над головой и швырнул о стену. Выходная дверь была прикрыта, и он вышиб ее сразмаху, налетев на нее всем телом. Он побежал прямо к воротам госпиталя, и часовой загородил ему дорогу винтовкой. Вишневецкий вырвал винтовку и ударом о колено переломил ее пополам. На крики и свистки часового выскочил весь караул. По Вишневецкому стали стрелять, его загнали обратно в госпиталь, и он метался между бараками, рыча и швыряясь всем, что попадалось под руку. Больные и санитары разбежались, боялись попасть под пули и штыки озверевших часовых. Только Пучков вышел из барака и побежал за Вишневецким. Он подоспел как раз вовремя. Вишневецкого окружили, и какой-то мадьяр всадил ему штык в грудь. Вишневецкий упал, и мадьяры бросились на него. Особенно усердствовал часовой, у которого Вишневецкий вырвал и сломал винтовку. Он размахивал обломком винтовки с насаженным штыком и прикончил бы несчастного, если бы Пучков не упал на Вишневецкого, закрывая его своим телом. Штык, предназначавшийся Вишневецкому, оцарапал Пучкову спину. Вишневецкого связали и отнесли в барак. Рана на его груди доходила до легкого, и когда он дышал, из нее со свистом и с пузырьками выходил воздух.

Вишневецкий два месяца пролежал с перевязкой. Большей частью он спал, и на лице его было выражение тихого покоя и безмятежности, какое бывает у спящих маленьких детей.

Во время болезни Вишневецкого за ним больше всех ходил Егоров, малорослый и худенький мальчик лет пятнадцати, его сосед по койке. На детском лице Егорова были густо рассыпаны бурые капельки веснушек. Его очень любили в госпитале, так как тоска по детям мучила пленных не меньше, чем тоска по женщинам.

Егоров был добровольцем. Он убежал из дому, как бежали во время войны многие мальчики, и в Смоленске забрался в вагон маршевой роты, идущей на фронт. Его оставили, дали обмундирование, и он стал рядовым, окопным солдатом — научился стрелять и, главным образом, швырять ручные гранаты. Бросать их выучил его фельдфебель, сообразивший, вероятно, что такому маленькому и худенькому подростку легче, чем взрослым, прокрадываться к австрийским окопам. А Егоров делал это охотно, как забаву. Он просто играл в войну, не думая о том, что убивает и калечит людей.

Однажды он попал в штыковой бой и, обезумев при виде того, как люди колют друг друга и расшибают черепа прикладами, бросил винтовку и с плачем бросился бежать. Австрийская пуля догнала его, его подобрали и увезли в тыл, в госпиталь, и когда, выздоровев, он запросился домой, его не пустили. Он числился рядовым, гранатчиком такого-то полка и роты, и в бумагах не было указано его возраста.. Его, теперь уже насильно,

отправили на фронт. Но он знал, что такое война, и сбежал по дороге. Его поймали тут же на станции, повезли дальше и заставили продолжать это ужасное дело: прокрадываться к австрийцам и швырять в них гранаты.

Ночью, пробираясь к австрийским окопам, он попал в заграждения колючей проволоки и запутался в них. Он провел там около суток, плача и мечась, и когда его нашли австрийцы, он ничего уже не помнил. Всего истерзанного и залитого кровью, его отвезли в госпиталь, но вылечить не могли. Он остался вечным гранатчиком. Ему казалось, что он ползет между колючими заграждениями и, добравшись до окопов, размахивается и бросает гранату. Граната разрывается и ранит его, и тогда он стонет, корчится и плачет. Такие припадки нередко повторялись у Егорова и сильно мучили его.

Бывало, что некоторые из пленных, в том числе и Пареньков, забавлялись болезнью мальчика и нарочно вызывали его припадки, напоминая ему, как он был на фронте и бросал гранаты. Но Паренькова чуть не зарезал парикмахер Борухов, любивший и жалевший Егорова, и с тех пор тот оставил мальчика в покое.

Крайними к стене лежали последние трое душевнобольных: «оратор» и двое слабоумных.

«Оратором» прозвали Гольдберга в бараках за речи, которые он часто произносил. Он говорил их во всякое время — днем и ночью, причем становился на свою кой-

ку, втаскивал туда табуретку, на нее ставил кружку с водой и пил во время своей речи. Мог он говорить по часу и больше, и было только одно средство заставить его замолчать. Надо было позвонить хотя бы ложечкой о чашку или о стакан и сказать строгим голосом:

— Оратор, ваше время истекло...

Тогда Гольдберг покорно опускал голову, кланялся и слезал со своей трибуны.

Он был очень красив. На вид ему было лет тридцать, не больше. У него был прекрасный лоб — чистая, немного выпуклая к середине доска живого, розового мрамора,— высокий выразительный лоб, придававший лицу Гольдберга возвышенное и благородное выражение. Все остальное в его лице — синие, всегда печальные глаза, прямой, энергичный нос и худые желтоватые щеки,—все это, казалось, только окаймляло лоб и подчеркивало его значительность и красоту.

Из всех нас только один человек знал Гольдберга до плена. Человек этот со смешной фамилией Кудахтер, маленький, кирпично-рыжий еврей из Борисова, трогательно ухаживал за Гольдбергом. Он приходил к нему по несколько раз в день, часами просиживал у его постели, хотя Гольдберг никогда не разговаривал с ним, и относился к Гольдбергу с удивительной, совершенно непонятной со стороны, нежностью.

И когда Гольдберг начинал свои речи, когда он влезал на кровать и, простирая вперед руку, звучным голосом произносил первую фразу:

— Господа, я протестую. Я протестую во имя попранных человеческих прав...

Кудахтер с обожанием и тоской смотрел на него, всплескивал руками и тихо, тихо, очевидно, боясь помешать Гольдбергу, повторял:

— Ах, пане Гольдберг! боже мой, господин Гольдберг...

Глубокие странности были в характере Гольдберга. Он часами ходил по бараку и задумчиво посматривал на людей, на их грязные койки, на сбитые подушки и покачивал головой. Или садился за столик, стоявший по средине барака и служивший для раздачи лекарств, клал перед собою чистую бумагу и быстро писал ручкой без пера. Бумага оставалась неисписанной, но он перелистывал страницы, хмурился и опять писал, изредка останавливаясь и поглядывая вокруг синими печальными глазами. Иногда он вставал с койки и, отчеканивая шаги, точно маршируя, подходил к какому-нибудь месту и останавливался, вытянув руки по швам. Лицо его принимало мужественное, суровое выражение, он глядел прямо перед собой, и казалось, что он стоит перед строгим начальником и делает заявление, требующее большой смелости и решительности.

Историю его болезни мне рассказывал Кудахтер, вместе с Гольдбергом бывший на фронте и одновременно с ним попавший в плен.

Гольдберг был адвокатом в Борисове. Он пользовался широкой популярностью среди рабочих и бедняков и безвозмездно защищал их на судебных процессах.

Если разбиралось какое-нибудь политическое дело, в городе говорили:

— Ну, вот, опять слушается дело Гольдберга.

Его взяли с первой мобилизацией и отправили на фронт. Он попал в Галицию. В это время русские наступали, и бедные галицийские местечки грабились и сжигались казаками, шедшими впереди армии. Казаки вели себя, как на погроме. Рассыпаясь небольшими отрядами по улицам захваченных местечек и городков, они врывались в дома, убивали мужчин и насиловали женщин. Хуже всего приходилось евреям. Их не щадили, их обвиняли в шпионаже, расстреливали и рубили шашками тут же на месте.

Гольдберг был в разведочном отряде. Он попал в маленькое местечко, занятое казаками. Из домов слышались крики, смех и плач, где-то на окраине горел дом, поперек узкой улицы лежал умирающий еврей. Его горло было перерублено, борода вздергивалась кверху, как пучок травы, который вырывали из земли, и руки вцепились в жилет. Двери в дом были распахнуты, и там хозяйничали казаки. Не стесняясь, они насиловали молодую женщину, двое маленьких детей ползали по полу, и девочка лет восьми с белым, диким лицом смотрела, как насилуют мать.

Гольдберг бросился в дом, напал на казаков, даже выстрелил в них из винтовки. Его сшибли, жестоко избили и, измываясь, полумертвого положили на женщину, хотели заставить насиловать ее.

Он не вынес этого. Когда его вынесли из комнаты,

он был перед грозным и справедливым судом и должен был изложить тяжкое преступление, свидетелем которого он был.

— Господа, я протестую,— начал он, подняв разбитое и опухшее лицо.— Я протестую во имя попранных человеческих прав... Не должен и не может существовать позорный строй, при котором насилия и убийства становятся законными поступками. Тираны, развратившие целый народ, не смеют оставаться на троне. Их гибель будет сигналом к нашему освобождению...

Его отнесли в полковой околоток и через неделю отправили на фронт. Он шел в бой с рассеянным взглядом, весь во власти своих мыслей. Кудахтер был возле него все это время. Он рассказывал, что не боялся за Гольдберга.

— Я знал же, ах, я же знал, что его не могут убить,— говорил он, воздевая руки к закопченному потолку барака.— Разве не существует справедливость? Смешно, чтобы ее не было.

Вместе они попали в плен и затем в наш лагерь.

Кудахтер не отходил от Гольдберга. Он был практичный, скуповатый человек, ремесленник и торговец, но у него были свои идеалы, свои представления о высоких материях, и Гольдберг соответствовал этим идеалам и представлениям.

И наконец, последними из восьми лежали Любимов и Совчук,— слабоумные. Несмотря на их внешнее различие,— Любимов был круглый, короткий и беломясый

человек, а Совчук сухой, точно спрессованный, с костистым синеватым лицом — они были схожи между собой, как люди одной профессии, одних занятий. Любимов был эпилептиком, и Совчук как будто заимствовал у него эту болезнь. Когда круглое тело Любимова начинало биться в частых и мелких конвульсиях припадка, Совчук сползал с своей койки и, упираясь руками в постель, долго и настороженно смотрел на больного. Он беспокойно двигался, как-то особенно похрюкивал, и в его свинцовых глазах читалось больше, чем простое любопытство: в них был смутный страх, как у животных в предчувствии стихийных бедствий. Поглядев на Любимова, он с воем полз на свою койку, начинал дергаться, сначала как бы нарочно, а потом и по-настоящему. Пена выступала на его губах, а ноги двигались быстро и равномерно, поднимаясь в коленях, точно Совчук ехал на велосипеде. Потом оба засыпали и спали долго.

Они все более впадали в слабоумие и были способны только на самые низшие человеческие функции. Сознание мерцало в них почти незаметно, и даже способность связной речи была утрачена ими. Но они все же отличались друг от друга. Любимов был обжорой и плакал и стонал, как боров в хлеву, когда начинали разносить пищу, Совчук же был равнодушен к еде и позволял Любимову доедать свою порцию. Любимов был весел, часто резвился и пел какую-то песню, в которой встречалось непонятное слово — салпиза — и ряд диких звуков: гы-ы-мы-и, ды-и... Выходило у него примерно так:

Гы-ы, ды-и... салпиза
Мы-и,
ы-ы-ры-и, гы-гы-гы,
Салпиза-а-а...

Совчук же был молчалив и хмур, не выказывая никакой инициативы к веселью, и только чесался. У него была застарелая чесотка, фельдшер приносил ему желтую мазь, и он любил смазываться ею, долго и заботливо втирая мазь в тело. Любимов, соблазненный жирной по виду мазью, как-то принялся есть ее, и потом его рвало, он с воплями катался по полу, и когда после этого Совчук смазывался, он поворачивался к нему спиной и принимал равнодушный вид.

В жизни у него ничего не осталось, кроме еды. Ел он в совершенном самозабвеньи, но ложку держал плохо, как годовалый ребенок, и суп проливал на себя. Во время еды он чавкал, в нетерпении хватал гущу пальцами левой руки, и живот его при этом ритмично двигался. Его иногда дразнили. Брали кусочек хлеба или картошку и показывали ему, затем носили по бараку, и Любимов бегал за пищей, слюни текли у него изо рта, и он стонал и издавал мычание.

Перед сном он занимался онанизмом, занимался совершенно открыто, не стесняясь никого, и никакими средствами нельзя был отучить его от этого. Совчук тупо смотрел на него и несколько раз из подражания делал то же, что Любимов, но скоро переставал.

Оба ни с кем не водились, но друг к другу питали странную привязанность. Сидели вместе, мычали, чесали

друг друга и иногда выходили за двери барака. И рядом — высокий костистый Совчук и маленький круглый Любимов выглядели, как Дон-Кихот и Санчо Панса. У них была своя и игра. Любимов высовывал язык и водил им из стороны в сторону, а Совчук мрачно и сердито ловил его. Однажды он поймал язык и хотел его вытащить, а Любимов визжал и вырывался.

Как-то ночью Любимов перелез к Совчуку и пытался его изнасиловать. Совчук сбросил его на пол и стал равнодушно топтать ногами. Но когда Совчук заболел и несколько дней лежал неподвижно, Любимов беспокойно ходил вокруг него, уныло подвывал, по-собачьи поглядывал на людей и несколько раз неловко провел по ноге Совчука, точно гладил ее.

И было грустно и больно видеть последние проблески человеческих чувств в этом жалком идиоте, так жестоко ограбленном войной.

ТИФ

Тиф подкрался просто и неожиданно, как всегда приходят большие беды.

На прием привели Циперштейна, мало знакомого нам человека, всего лишь неделю жившего в лагере. У него был жар, в ногах ощущалась тягучая ноющая боль, и язык был сильно обложен, точно вывалян в мелко истолченных сухарях. Доктор Швейцер, принимавший в этот день, осмотрел Циперштейна, помыл руки в сулеме и велел сейчас же отвести его в пустой барак. Циперштейн попросился сходить за вещами, но ему не позволили, и я видел, как он вялой походкой, сгибая колени, прошел между двух санитаров к пустому бараку. Барак был заперт, ключи находились у фельдфебеля Ежека, коменданта госпиталя, и пока за ними рысью бежал санитар, Циперштейн стоял прислонившись к двери и бесцельно смотрел себе под ноги.

Черные просмоленные двери распахнулись легко. Пятьдесят пустых коек с откинутыми одеялами стояли, как открытые могилы, и Циперштейн испуганно спросил:

— Неужели я один буду здесь лежать?

Он был первым тифозным больным, и то, что его положили в отдельный барак, наполнило его страхом перед своей болезнью, которая до сих пор казалась ему незначительной. Он поглядел так, точно его живым зарывали в землю, побрел по рядам пустых коек, и глубокая обреченность и сознание своего одиночества были в его движениях. Он выбрал койку по середине барака и устало опустился на нее. Санитары раздели его догола, переодели в новое белье и уложили.

Циперштейн сразу изменился. Солдатская одежда обезличивает человека, но больничная совсем стирает его. Она делает человека каким-то придатком койки, она выдергивает из него все пружины жизни и обрекает его на ужас, неуверенность и постоянный страх смерти.

Циперштейн совсем потерялся в бараке. Его худое узкое тело пропадало на койке. Одиночество не долго мучило его. Болезнь овладевала им скорее, чем страх. Уже к вечеру он был в огне, муть застилала его глаза, и свинцовый налет покрыл побелевшие губы.

Мне не пришлось разглядеть его сначала. Я не пригляделя к нему и во время болезни, так как казалось, что он меняется каждый день. Он беспрерывно бредил, говорил целые речи, и было трудно определить, что он за человек.

По вечерам в бараке становилось неприятно и жутко. Он тонул во тьме, и только кровать Циперштейна проступала тусклым, слабо освещенным пятном. Санитары неохотно дежурили здесь. Врач заходил один раз в

день, после обеда. И часто бывало, что Циперштейн оставался один. Он лежал навзничь, крестом раскинув руки. Кости проступали сквозь кожу так ясно, что виднелись не только их очертания, но и цвет — жуткий белый цвет. Было неприятно смотреть. Казалось, что скелет тяготится своей оболочкой и хочет скорее сбросить ее. Серое лицо больного лежало на подушке, его воспаленные глаза блуждали по потолку и не схватывали ничего. Я подошел к нему. Его взгляд не задержался на мне. В нем была какая-то дальнозоркость, он, очевидно, видел разные далекие вещи, глядел за сотни километров и не замечал того, что было вблизи.

Больной говорил. Голос звучал мягко и сочно, в нем слышались удивительные модуляции, как у очень хороших актеров, произносящих со сцены монологи.

— ...Лилечка, моя милая сестричка,— говорил Циперштейн,— неужели же я больше не увижу тебя? Кто же поможет тебе решать задачи по алгебре? Кто тебе даст двадцать копеек на извозчика? Я ведь знаю тайну про голубую ленту... И ты думаешь, что я выдам тебя?

Его глаза побыли на секунду на печальном огне керосиновой лампочки.

— Огонь, огонь,— запел он.— Белый огонь, первая очередь, пятая очередь, шрапнели, сыпь, пулеметы... тра-ля-ля...

И вдруг сердито:

— А где же Лилечка? Неужели она ушла в эскадрон?

Руки его зашевелились, концы пальцев дергались —

он будто совершал массу стремительных и буйных движений, но в самом деле не двигался.

— Тореадоры, в цепь,— ясным и звучным голосом закричал он,— это вам не опера в городском театре. В окопы, баритоны, и пожалуйста без марша. С маршем всякий полезет...

Он худел и чернел с каждым днем, крупные красные розеолы забрызгали его тело, и он был почти все время без сознания. Часто из его барака доносились дикие крики, плач, песни и пугали больных. Они боялись Циперштейна. Он был для них грозным вестником болезни, столь же страшной, как пулеметный огонь.

Циперштейн кричал и плакал. Вероятно в недолгие минуты, когда он приходил, в себя, одиночество пугало и мучило его. Как-то вечером, когда я ваткой счищал черный налет с его зубов и губ, он схватил меня за рукав. Никакой силы не было в его руках, обтянутых бумажной кожей, и я осторожно отнял их и спустил на одеяло.

— Один, один,— тихо сказал Циперштейн, глядя на меня желтыми глазами тигра.— Одинокий человек в пустыне... Сорок дней и сорок ночей... Песок и бублики... Где мой Моисей, который приведет меня в землю Ханаанскую? Караул же, кричу я, караул...

Он пытался смотреть на меня, точно я каждый раз ускользал из поля его зрения, и глаза его вспыхивали

из-под обволакивающей их пленки, как металл из-под ржавчины.

— Доктор,— завопил он,— не оставляйте меня. Я озолочу тебя, доктор. Я богатый... комиссионер торгового дома Бомзе и компаньон... пятьсот рублей в месяц... Доктор, дорогой, сукин сын...

И он заплакал тоненьким плачем, точно у него ломались в горле льдинки, и жилы бились на его шее, как рыбы в садке.

На другой день он встретил меня спокойно, кивнул головой и шопотом, с деловым видом рассказал, что у него в нарах спрятаны пять тысяч рублей, и он заплатит по двести рублей за каждого живого человека, которого положат к нему в барак.

— Но только,— сказал он, повелительно поворачивая ко мне похудевшую свою куриную голову,— но только живых... Мертвых не класть. За мертвых не плачу.

Следующие дни он был будто в агонии. Он вяло лежал на кровати. Он не плакал, не стонал, не говорил. И только левая рука двигалась неутомимо, как поршень паровоза. Глаза его были полузакрыты и отсвечивали цинком. Он не принимал даже лекарства. Я пробовал поить его с ложечки, но все выливалось обратно. И, пролежав так четыре дня, он начал оживать. Серый налет таял на лице. Пленка сползала с глаз. Температура упала. Язык розовел, и губы наливались кровью. Циперштейн стал жаден на еду. И изменился. Во время болезни он казался интересным

человеком. Мутные клочки культуры чувствовались в нем. А при выздоровлении оказалось, что он туповатый и совсем простой парень, хитрый, недобрый и очень скупой. Выздоровев, он устроился ламповщиком, зажигал лагерные фонари, воровал керосин и по дорогой цене продавал его своим же товарищам пленным.

Циперштейн еще не совсем выздоровел, когда в барак начали поступать новые больные. Их приносили по одному, по двое, а потом и целыми группами. Барак быстро наполнялся, и койки сдвинули тесней, так что проходы остались только между каждыми двумя кроватями. Меня и еще трех фельдшеров поселили тут же в маленькой комнате, отделенной от помещения больных только досчатой перегородкой. Дни проходили в непрерывной работе. Нехватало лекарств. Больным варили грубые щи и давали черный хлеб — пищу, которая могла их погубить. На весь барак выдали два термометра. Не было белья, посуды и перевязочных материалов. Больших усилий стоило добиться от старшего врача молока, белых сухарей и каши для больных. Врачи не любили тифозный барак, самый опасный и грязный из всех. Они заходили сюда лишь раз в день, и все лечение и уход лежали на наших плечах.

Утром к черным дверям барака тянулись носилки с больными, и, раскачиваясь от слабости, брели караваны людей. Их направляли сюда из амбулатории или прямо

приносили из лагеря. А мест нехватало. Койки сдвигались все теснее, и все они были заполнены. Случалось, что несколько человек лежали на тюфяках в помещении ванной и ждали, пока кто-нибудь умрет, и освободится койка.

Ванная помещалась в довольно большой комнате, вернее широком коридоре в задней части барака, откуда был ход в кладовую и в уборную. Воду туда приходилось таскать ведрами из колодца, и ее экономили. В одной и той же воде купали несколько человек, и она становилась жирной и грязной, и на ее поверхности плавала густая чешуя обмылков и всякой мерзости. Для вымывшихся людей не было постелей. И они бродили между коек, высматривая, нет ли умирающих, и сторожили их смерть, чтобы не выпустить места.

А умирало много людей. Куда было им, и так полумертвым, бороться с жестокой и хищной болезнью. Она ломала их, высасывала последние запасы сил из скелетообразных тел и отправляла их в мертвецкую и на кладбище.

Скоро пришлось открыть второй барак, и он заполнился в несколько дней. Но каждое утро приносили новых больных, и некуда было их класть. Случалось, что некоторых отсылали обратно, и они шли, спотыкаясь, в свои бараки. А через день или два их снова приносили уже на носилках в горячем тифозном бреду.

Нам приходилось плохо. Одни лишь короткие серые халаты защищали нас от заразы. А ведь день приходилось проводить с больными, давать им лекарства, де-

лать холодные обвертывания и перевязки, счищать налет с губ и мерять им температуру. Труднее всего приходилось раненым. Тиф разъедал их раны и не давал им закрыться, они не заживали, требовали тщательного ухода, а перевязывать больных, мечущихся в бреду, было почти невозможно. И случалось, что пока фельдшер делал перевязку, двое санитаров, навалившись на больного, держали его, а он выл, брызгал ядовитой слюной и ругался. Припадки безумия бывали у многих тифозных. В этих условиях нам трудно было уберечься. И за время эпидемии почти все фельдшера и санитары переболели тифом.

Первым свалился рыжий Васька, здоровый, зеленоглазый парень, с пышными золотистыми усами и с лихой эспаньолкой, единственной в лагере. Васька был шофером, фельдшером же сделался уже в лагере, чтобы уйти из барака. В тифозный барак его назначили из хирургического, где он за полгода своей работы наловчился делать перевязки и с важным видом выстукивать больных. И здесь, в духоте и в нестерпимой вони, среди восьмидесяти человек, раскиданных по койкам, стонущих и выкрикивающих бессвязные слова, Васька не потерялся и не изменил своему обычному веселому и ухарскому виду. Рано утром он выходил выбритый, причесанный, с бинтом на усах, добросовестно обходил своих больных, бесстрашно присаживался на их койки и, ставя градусник и делая перевязки, называл каждого землячком и шутил с ним. В нем было много здоровой силы, он был оптимистом

и не верил, что с ним может случиться что-нибудь плохое. И вдруг он осунулся, перестал есть и забросил свои усы. Так он ходил четыре дня, пока температура не прыгнула у него к тридцати восьми, и мучительно не заломили ноги.

Помню, как он удивленно свистнул, доставая из подмышки градусник и недоверчиво разглядывая его. Его зеленые глаза потухли.

— Тиф,— проговорил он, морщась.— Вот тебе и Васька.

В полдень врач осмотрел его, помял селезенку и велел ложиться в барак. Уложили его на лучшее место в центре барака, где койки скучились не так тесно, как по углам, и где лежали вольноопределяющийся Исай Турнер и грузинский князь Нижерадзе. Васька тихо переносил свою болезнь. Он сжимался и свертывался, как подсолнечник на ночь, рыжие металлические волосы его линяли, зеленые глаза выцветали, и щеки серели и втягивались внутрь. Он не бредил и лежал апатично. Товарищи заботились о нем, врач никогда не обходил его, и ему одному из немногих выписывали диэту. Но все, что с ним делали, он принимал равнодушно. Он замкнулся в свою болезнь, как медведь в берлогу, глотал лекарства, не открывая глаз, ничего не говорил, ни на кого не глядел. И только иногда раскрывал рот с почерневшими зубами и судорожно зевал.

По одну сторону от него лежал Исай Турнер, по другую Акакий Нижерадзе. Рядом с Нижерадзе на

складной кровати метался в жесточайшем бреду вольноопределяющийся Белявский.

Турнер был коренастый крепыш. Подбородок у него был сильный, дубовый, лоб узкий, в него углом врастали волосы, а глаза черные, живые, очень мягкие, с хорошей искоркой. Он пользовался уважением и любовью всего лагеря за свою сдержанность и уменье разбираться в человеческих поступках. Он не любил решать скоро, а делал все не торопясь, обдуманно и точно. В частых ссорах, возникавших в лагере по всякому пустячному поводу, Турнер считался признанным судьей и примирителем. Уже не молодой и, видимо, хорошо знающий жизнь, он терпимо и без осуждения относился ко всем. Он выписывал книги из Праги и все свободное время отдавал им. Свою болезнь он принимал спокойно и, казалось, без особой тревоги. Но его спокойствие было искусственным. Турнер прятал свое волнение. Ему не хотелось погибнуть в нашей проклятой дыре, и по утрам он спешил поглядеть на термометр — не прыгнула ли предательски вверх серебряная полоска, не грозит ли она ему новыми бедами.

Нижерадзе, высокий стройный грузин, переносил болезнь тяжело. Он плакал и метался, высох и смотрел на всех молящими глазами. Он был слишком экспансивен, чтобы скрывать свой страх и тоску, и когда ему казалось, что все для него кончено, и отсюда его вынесут в засыпанном известью гробу, он всплескивал руками и грыз грязную подушку. В бреду он

становился буйным, кричал что-то на родном языке и пытался вскакивать и драться. Но скоро болезнь так ослабила его, что он лежал тихо, слипшиеся усики печально свешивались на губы, и черное стекло глаз тускло отсвечивало из-под полузакрытых век.

Сосед его, Белявский, умирал сразу от двух болезней — от тифа и туберкулеза. Под подушкой он прятал книжечку в коленкоровом переплете и в ней — портрет красивой белокурой девушки. Непомерно длинный и узкий, с тоненькой шеей и с кадыком на горле, выдававшемся, как костыль на доске, он не имел ни одного шанса на выздоровление и знал это. Все его усилия сводились к тому, чтобы держать себя в руках и умереть тихо и просто. Но ему это удавалось плохо. Ему было двадцать два года, он был поэтом (в его мешке после смерти нашли несколько журналов с его стихами — он берег их тщательно и никому не показывал), дома его ждала невеста Люси, и умирать ему страшно не хотелось. По ночам он тихонько плакал и жаловался люсиному портрету, который он клал перед собой и целовал. Почему-то он ревновал Нижерадзе к Люси и никогда не показывал ему портрета. Грузина он не любил и звал его презрительно: бараний князь. В бреду ему представлялось, что князь соблазняет Люси. Он лазил рукой под подушку и поспешно хватал свою книжечку.

— Не ходи, не ходи с ним,— умолял он, сжимая портрет,— погляди, какие у него руки... длинные, развратные.

И он свешивался с кровати и смотрел на желтые руки Нижерадзе, лежавшие на одеяле.

— Шевелятся, шевелятся,— шептал Белявский,— ради бога, закройте же ему руки, чтобы она не видела их.

И плача, он хватался за меня, жалуясь на князя.

— Все время лезет к ней,— хрипел он,— и главное руки показывает... а руки-то голые, циничные... соблазнитель проклятый... и как он узнал, что она у меня здесь под подушкой?

Ему очень хотелось достать Пушкина, но на весь лагерь была одна пушкинская книжка, и ее владелец не хотел давать ее в тифозный барак, а купить ее у Белявского не было средств. Пушкина он читал наизусть, очень тихо, но с превосходным выражением, и во время чтения чистые, нежные слезы катились по пергаменту его щек.

— Послушайте,— говорил он мне,— я уже знаю, что для меня нет никакой надежды. У меня даже нет сил представить, что я могу бегать, петь, любить. Я уже не живу, а теплюсь, как огарок,— видели вы когда-нибудь такой огарок в подсвечнике, когда стеарин весь выгорел, и горит один только фитилек? Он клонится, часто мигает, а вверху от него все еще тянется синий огонек. И я все-таки надеюсь. Знаю, что умру еще на этой неделе, и, представьте себе, надеюсь.

Он посмотрел на меня мягким, даже лукавым взглядом и улыбнулся.

— Я вас люблю, любовь еще быть может,— совсем

тихо и точно извиняясь передо мной начал он, передохнул и продолжал:

В душе моей угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.

Он читал и плакал и вдруг страшно закашлялся. Откашлявшись, он кивнул мне.

— Последняя просьба,— с какой-то нехорошей улыбкой сказал он,— мы с вами ведь земляки. Вы вернетесь, вернетесь... (спазма сдавила ему горло) так вот, повидайте Люси. Расскажите ей обо мне.

И, задергавшись, он заплакал тоненько и пискливо. мягкое выражение исчезло с его лица, и оно сделалось старым и уродливым. Кости скул и челюстей проступали сквозь утлую кожу, и Белявский хотел вскочить. Его голые ноги кривыми желтыми червяками выползли из-под одеяла, но встать у него не хватило сил. Он лепетал в полубреду, жаловался горько и бессвязно на то, что долго встречался с Люси, что она любила его и перед самой его отправкой на фронт хотела ему отдаться, а он из глупого рыцарства отказался.

— Сберечь, сберечь хотел,— стонал и взвизгивал он,— и вот труп... мертвец... ах, боже мой, неужели не вылечусь?

Я молчал. У меня не было смелости обещать ему жизнь.

Он, морщась, раскрыл книжечку и показал мне портрет Люси. На вид ей было лет девятнадцать. Соединение

молодости, свежести и удивительной миловидности действовало неотразимо. Странно было видеть этот портрет в нашем бараке. Белявский смотрел на меня, качая головой, глаза его закрылись, и он, хрипя и вздрагивая, забылся не то во сне, не то в агонии.

В углу барака на своей койке скорчился Иван Леонтьевич, киевский извозчик. Он был санитаром в госпитале, последний месяц работал в тифозном бараке и свалился несколько дней назад. Его хорошо знали в госпитале. Знали, что он копит на лошадь и по возвращении в Киев хочет стать хозяином. Незадолго до своей болезни он на свои сбережения купил себе золотые челюсти, считая, что зубы легче всего уберечь от кражи, а в России их можно продать. Зубы и теперь блестели в его рту, и он ни за что не хотел их снять. Боялся, что украдут. Где-то еще он прятал деньги, но прятал так искусно, что никто не мог их найти. И Иван Леонтьич боролся с тифом, боясь потерять сознание, и даже в забытьи хватался рукой за рот, проверяя, тут ли его зубы. К нему во время его болезни много раз приходил Дорожкин, маленький, смуглый, похожий на цыгана санитар, с острой бородкой и наглыми медными глазами. Дорожкин долго и упорно убеждал Ивана Леонтьевича открыть ему, куда он спрятал деньги, обещая за это отслужить по нем после его смерти панихиду. Иван Леонтьевич гнал его, уверяя, что никаких денег у него нет, и Дорожкин, свирепея, говорил свистящим голосом:

— Ведь все равно подохнешь, куда же тебе деньги?

Тогда Иван Леонтьевич начинал хныкать, мутные, мучнистые слезы скатывались на войлок его усов, и он плаксиво жаловался, что ему не дают спокойно умереть.

— Ты умри, умри спокойно,— издевался Дорожкин,— а я в сторонку отойду. Подыхай, киевская кляча... Подохнешь, хоть зубы выдерну.

Но Иван Леонтьич не хотел умирать. Он уже перенес кризис, когда рядом с ним положили Мухина, суздальского иконописца, злого и хитрого человека, большого мастера вырезывать из дерева разные фигуры. Мухин считался в лагере денежным человеком. Он и болезнь свою таил до крайнего срока, боясь уйти от своего имущества — от сундука, где лежали его сапоги, белье и одежда. Он был в сильном беспокойстве. Метался, стонал, каждую минуту садился и хватался руками за грудь. Ночью он долго молился, держа перед собой толстую иконку. Три дня он боролся и владел собой, потом обеспамятел. Вскрикивал, пел молитвы и вперемежку с молитвами произносил отборные, с вывертами ругательства.

Иван Леонтьевич незаметно к нему присматривался. Ночью, дождавшись, когда Мухин был без сознания, он прокрался к нему на постель и стал обыскивать. Он нашел мешочек, с большим искусством привязанный под мошонкой. Крепкий шнурок не поддавался, и Иван Леонтьич, наклонившись к смрадному телу больного, пытался перегрызть шнурок своими золотыми зу-

бами и, не сумев перегрызть, рванул мешочек изо всех сил. Мухин застонал, глаза его открылись, и он, привстав, вцепился в вора. Но сейчас же повалился.

Через два дня он хватился мешочка. Он казался в полном отчаяньи. Больной и в жару он ползал по всем койкам, просил и расспрашивал, кто взял его деньги. Под конец Мухин стал приглядываться к Ивану Леонтьичу, притворявшемуся очень слабым и обессиленным. Внимательно изучив всех больных, он уверился, что кроме Ивана Леонтьича некому было его обокрасть. Раздобыв нож, он терпеливо дожидался своего срока. Когда ему стало легче, он на рассвете перелез к Ивану Леонтьичу и стал искать. Иван Леонтьич проснулся, но испугался, видно, мало. Дал себя обыскать и равнодушно сказал, что Мухин зря ищет, и ничего у него нет. Мухин и в самом деле ничего не нашел и, решив, что Иван Леонтьич успел спрятать деньги, ударил его ножом. Нож разрезал рубашку и поранил кожу Ивана Леонтьича. Мухин, испугавшись, убежал и, плача и крестясь, зарылся в подушку.

Денег своих он так и не нашел. Много времени спустя, уже выздоровев, он каждый день приходил к Ивану Леонтьичу и просил отдать деньги. Становился на колени и говорил, что деньги должны были пойти на постройку церкви. Иван Леонтьич бегал от него рысью, отмахивался и говорил:

— Вот пристал человек, говорил тебе, что не брал.

Дни проходили. Эпидемия не шла на убыль. В бараки приносили все новых больных. Принесли Гольдберга из восемьдесят пятого барака. Он спокойно лег на свою койку, и оттого, что его коротко остригли, его прекрасный лоб приобрел еще большую значимость, чем прежде, когда его закрывали волосы. Принесли и Кобчика, самого жизнерадостного человека в лагере, великого оптимиста, которого не могли смутить и сломить никакие неудачи. Кобчик сразу стал необходимым для всех больных и в унылом бараке действовал, как кислород. Он не был дешевым балагуром. Сила и воля жизни органически исходили от него и передавались другим. Жил он так, точно делал спорую и веселую работу. Все ложилось у него к своему месту, выходило просто и легко, без надсадок и углов. И болезнь свою Кобчик переносил так, как будто она была давно им намечена и не выходила из программы его жизни. Когда градусник у него показывал тридцать девять и две десятых, он кивал головой, словно так и должно было быть, и сейчас же за что-нибудь брался. Он владел редкой способностью не уметь оставаться без дела, и, даже лежа в тифу, он рассказывал разные истории, читал или стругал какую-то дощечку, из которой хотел сделать табакерку. Болезнь у него проходила легко и без кризиса, то есть без особых толчков и порывистости рассасывалась в его крепком организме. Кобчик ходил по всему бараку, присаживался ко всем без разбора, знакомился и всегда оказывался чем-нибудь полезным. Сафронову, туляку-крестьянину,

тяжело переносившему тиф и лежавшему в самом дальнем углу, у ванной, он давал лекарство и мерял температуру. Когда тот совсем умирал, Кобчик весело, но осторожно рассказывал ему про тульские самоварные заводы, где он работал, и про речку Гуслянку в городе Егорьевске, которая семь лет течет и семь лет на месте стоит. И Сафронов улыбался белыми, мертвыми губами, и тихие искорки дотлевали в его глазах.

Тогда в бараке умирало одновременно несколько человек: Сафронов, Архашумов, сапожник из Эривани, Белявский и князь Нижерадзе. Все они умирали по разному. Сафронов тихо и спокойно, как усталый вол, Архашумов, погибавший от мучительного перитонита,— с воплями и стонами, Белявский сдержанно и как будто с иронией, и Нижерадзе с отчаяньем и страхом, с бешеной злобой к доктору, который плохо лечил его, к фельдшерам, которые небрежно ухаживали за ним, и ко всем людям, которые оставались в живых в то время, когда он должен был умереть.

Первым умер Архашумов. Перед смертью его живот вздулся, и Архашумов все время кричал от нестерпимой боли. Два дня мы просили для него морфия и не могли добиться. Боль так доняла его, что умирая, он улыбнулся, и, сжав руку Кобчика, бывшего возле него, успокоенно сказал:

— Конец, Кобчик, не будет больше болеть. Очень доволен.

Он умер поздно вечером, и санитары пронесли гроб прямо к его койке мимо всех больных, чтобы избе-

жать лишней работы по перекладыванию тела с носилок. Нижерадзе увидел гроб и завизжал на санитаров, потрясая высохшими руками. Кобчик подошел к ним.

— Сволочи же вы, ребята,— спокойно сказал он,— зачем вы людей тревожите? Эх, растяпы...

Нижерадзе бился в истерике, и по всему бараку больные кричали, плакали, выли и ругались. Гольдберг встал на своей койке, протянул руку вперед и громким чистым голосом начал свою речь. В этом бараке, где все бредили и стонали, слова его, человека, потерявшего рассудок на войне и принесенного сюда из отделения умалишенных, звучали неожиданно тепло и проникновенно.

— Господа,— начал Гольдберг,— я протестую, я протестую во имя попранных наших прав... Убивают, насилуют, заставляют воевать, и нет конца произволу... Гибнут люди, но бессмертны идеи. Погибших уносят в черных гробах (он указал на гроб, который торопливо проносили санитары), а живые замурованы в гранитных тюрьмах. Но разве мало еще борцов на свободе? И разве когда-нибудь человечество прекратит борьбу за право свободной жизни, за право не убивать и не угнетать себе подобных?

Он замолчал, рассеянно посмотрел вокруг и попросил:

— Дайте воды.

Воду ему принес Кобчик, а Гольдберг улегся, потирая лоб и бесцельно глядя перед собой.

Нижерадзе все плакал, зубы его стучали.

— Боюсь,— всхлипывая говорил он,— ой, боюсь, нельзя умирать молодому. Э-ва, э-ва-а...

А Белявский, сжимая руками грудь, чтобы сдержать кашель, сопровождавшийся у него кровохарканьем, наклонялся к князю и говорил:

— Ну, дорогой мой, ну, не надо же. Держитесь крепко. Милый, держитесь.

Но Нижерадзе не слышал его.

Я сел на узенькой скамеечке, разъединявшей их койки. Белявский улегся на спину, и нос его рассекал воздух, как бугшприт корабля.

— Смерть,— сказал он,— смерть,— и скосил глаза на столик, стоявший вблизи его кровати.— Столик больше не нужен.— Он тихо засмеялся.

— Посмотрите,— сказал он,— стоят на полу мои сапоги? Не нужны мне. Сумка не нужна. Все уходит. Ничего не нужно... Я сдал все в багаж. Налегке, налегке...

Глаза его заволакивались морщинистой пленкой, как остывающее молоко. Он перестал шевелиться, одеяло не подымалось на его груди, и в ту минуту, когда мне показалось, что он умер, он заквакал, и пленка на его глазах разорвалась в кусочки.

— Люси, уберите Люси,— закричал Белявский.— Князь заберет девочку.

И дернувшись длинным плоским телом, уже уходившим из его власти, он посмотрел на Нижерадзе.

Князь лежал на боку, рука его свешивалась до полу,

и тихий хрип выходил из его открытого рта, темного, как земляная нора.

— Умирает, совсем умирает,— деловито сказал Белявский,— все ушло от него, осталась только койка, пока койка, потом будет гроб.

Он захихикал радостно и противно и победно посмотрел на меня.

— Раньше умрет, чем я,— сказал он,— поглядите на его руку. Это не рука, а лапа дохлой курицы.

Взгляда уже не было у него, взгляд его не доходил никуда, и морщинистая пленка прочно заволокла глаза Белявского. Жизнь его уходила в глубь тела, погасшего и холодного, руки были мертвые, и тоненькая ниточка пульса перетерлась в зеленом футляре жил. Белые лоскутики губ сложились, точно Белявский хотел засвистать, но свиста не вышло.

Исай Турнер сидел на своей койке и смотрел на Нижерадзе. Он не заметил, что Белявский умер, и, кивнув на князя, взглядом спросил меня, скоро ли тот умрет. Я не ответил ему. У Нижерадзе пульс бился почти незаметно, он хрипел и казался в агонии. Я дал ему последний заряд — оголил руку и впрыснул полный шприц камфары, чтобы поддержать ослабевшее сердце. Тугой холмик взбух под кожей и рассасывался долго — кровь обращалась медленно. Через час я повторил впрыскивание. Нижерадзе лежал, не меняя положения. Так он лежал двое суток и очнулся. Глаза

его открылись и равнодушно уставились на потолок. Делая незаметные глотательные движения, он с ложечки выпил немного молока. Через день он стал живее. Его глаза переходили с одного предмета на другой и овладевали ими. Они захватили столик, потом подкрались к койке Турнера, вскарабкались на нее и прыгнули к окну. С окном они боролись долго, впитывая в себя коричневые рамы и пухлый белый свет, который переваливался снаружи в барак, как груда ваты. Глаза неуверенно и удивленно находили все новые вещи и захватывали их, как ценную добычу. Человек постепенно отбирал утраченный им мир, рос, как ребенок, и с непостижимой для здоровых свежестью воспринимал окружающее. Он долго и упорно рассматривал висевшее на стене полотенце и не понимал, что это за вещь. И увидав, как Турнер снял его с гвоздя и вытер руки, восхищенно улыбнулся: он вспомнил, для чего служит полотенце — его мир обогатился еще одним предметом. Он осторожно двигал руками и ногами, ощупывал их, как обновки, и с удивлением качал головой. Когда он сел и мог оглянуться, он почувствовал головокружение — так много открылось ему. Он провел рукой по своим заросшим щекам и мучительно задумался над чем-то. И вспомнив о бритве, засмеялся так радостно и счастливо, что больные оглянулись на него. Он любовно посмотрел на них и с несвойственной ему детской робостью спросил у Турнера, бреют ли людей и нельзя ли ему побриться. В барак приходил парикмахер из больных, перенесший тиф. Он

побрил Нижерадзе, и пока его брили, князь сидел, улыбаясь от счастья.

С тех пор он начал быстро выздоравливать. Он наливался новой силой, но, здоровея, все меньше чувствовал радость познания новых вещей. Он становился по-старому груб и заносчив, и свежесть его восприятий линяла и уходила от него. Будни ели его тихо и ровно, и он уже думал о деньгах, о грязи и вони в бараке и о том, что плохо ходят за ним, за князем.

Выздоравливал и Турнер. Он уже ходил, он даже прыгал через свою койку и однажды, желая, чтобы его скорее выписали из барака, уцепился руками за перекладину, шедшую от столба к стене, и повис на ней, показывая свою силу. Он хохотал и все просил побольше есть. Каша и белые сухари не удовлетворяли его — он жадно мечтал о селедке и трехфунтовом куске сала, которые он съест сразу с пятью фунтами хлеба.

Только Сафронов умирал. Он был верующим и хотел сделать все по обряду. В вещевом мешке у него была припрятана чистая рубаха, и каждый день он настойчиво спрашивал фельдшера:

— Сегодня, что ли? Упреди, пожалуйста.

Но больше, чем фельдшеру, он верил своему инстинкту и, ощутив близость смерти, начал прибираться. Он достал рубаху и стал надевать. Сил у него не было, и не меньше, чем двадцать минут ушло у него на это. Надев рубаху, он решил побриться. Казалось невероятным то, что он проделал. Он брился лежа, самодельной бритвой, сделанной из расплющенного гвоздя.

Каждое движение удавалось ему только после длительных усилий. Он отдыхал и со стоном продолжал свое дело. Мочил щеку и скоблил ее. Он порезался несколько раз, но кровь не выступала из порезов, как это бывает у трупов. Наконец, совсем истощенный, он отвалился головой и выронил бритву. Она упала с тоненьким звоном. Сафронов вытянулся. Сукровица поползла из его искривленного рта, заливая чистую рубаху. Он сучил руками, пытаясь достать с груди висевший на шнурке маленький складень. Слюда затянула его глаза, ноздри опали. Он затих.

Солнце косым лучом прорубило воздух от окна к его кровати. Луч позолотил волосы на небритой щеке, а другая, выбритая, осталась в тени.

День был ясный и солнечный, и с утра особое беспокойство было заметно у Кобчика и Турнера. После смерти Белявского Кобчик занял его койку, и таким образом Нижерадзе, фельдшер Васька, уже выздоравливающий, Турнер и Кобчик теперь лежали рядом. А через проход от них, прямо под узеньким и высоко прорезанным окном помещался Гольдберг. Болезнь както не отразилась на нем, и он переносил ее удивительно легко. Врач пришел в двенадцать часов, бегло оглядел больных и немного задержался возле Нижерадзе.

— Ну, что, кнесь,— спросил он, коверкая русский язык,— нитчего?

— Ничего, пан доктор,— ответил Нижерадзе, в улыбке открывая побелевшие зубы.— Скоро гулять пойду.

— Ну, рано, рано,— сказал доктор,—еще, кнесь, полежите.

Турнер нетерпеливо смотрел на врача. Ему хотелось скорее показать ему, какой он здоровый, и попросить о выписке. Но врач не подошел к нему.

— Ладно, не ругайся,— весело сказал Турнеру Кобчик,— градусы мерял?

— Нормальная третий день,— ответил Турнер,— пойду из барака...

— Пойдем вместе,— предложил Кобчик,— вот пусть пан уйдет.

Они дождались, пока в бараке не осталось никого, кроме больных и дежурного санитара, которого они не боялись, и поднялись с коек. Надели опорки, запахнули халаты и пошли. Стоило только открыть дверь и пройти узеньким коридором, чтобы попасть на волю. Они шли рядом, держась за руки, тихо и осторожно ступая, и дверь открыли в большой нерешительности. Свет и воздух хлынули на них, как море из прорвавшейся плотины, и они стояли ослепленные, раздавленные и все же счастливые. Они засмеялись оба сразу и смеялись долго, оглядываясь вокруг. Свежий воздух вливался в них бурными потоками, их лица расцветали, как растения, вынесенные из подвала, и острое, захлестывающее ощущение, точно они стремительно неслись с очень высокой горы, пронизывало их. Потом они опьянели, кислород действовал на них, как водка, и

они должны были присесть. Они только смотрели и не могли говорить. Никогда в жизни им не приходилось воспринимать мир с такой потрясающей силой и глубиной. Они смотрели на колодец с низким каменным выступом, на черные ребра бараков, на скудный сад, разбитый у самой проволоки, в котором росли красно-оранжевые хвостатые настурции, гвоздики и астры, и дальше на пологую гору, подымавшуюся к сосновому лесу. Простор, открывшийся им, был так огромен, что вдруг страх охватил Турнера. Пространство всасывало его, как бездна, голова у него кружилась, и тошнота подступала к горлу. Он оперся спиной о стену и протянул вперед руки.

— Страшно, Кобчик,— сказал он,— упаду куда-нибудь.

— Ну, ну,— ответил Кобчик, испытывавший то же, что и Турнер.— Это с непривычки... вот попробую прогуляться...

Он встал и пошел, но, сделав несколько шагов, остановился. Ему показалось, что высочайшие воздушные стены обрушиваются на него, как водопады. Тело его раздувалось и как будто хотело разлететься во все стороны. Пятясь, он дошел до скамьи и, ощупью найдя Турнера, ухватился за него.

— Пойдем в барак,— растерянно сказал он,— не в силу мне.

Они пошли, держась друг за друга, убегая от пространств, поразивших их, и совершенно разбитые вернулись на свои койки.

Но барак показался им таким маленьким и темным, такая невыносимая спертая вонь встретила их, что они остановились, удивляясь, как могли они провести здесь два месяца — шестьдесят дней и шестьдесят ночей.

Фельдшер Васька сидел на своей койке, спустив ноги на пол, и посвистывая примерял бинт для усов Он весело посмотрел на Турнера и Кобчика.

— Рано гуляете, землячки,— важно сказал он, уже не как больной, а как фельдшер.— Надо беречься.

И, подмигнув им зеленым глазом, в котором, как у кота, бегали изумрудные искорки, Васька сообщил им, что с завтрашнего дня он переходит в свое помещение.

ЛАГЕРЬ В ЭГЕРЕ

Эгер — маленький чистый немецкий городок, хорошо сохранивший следы готического средневековья. Некоторые улицы узки, как коридоры, и острые шпицы башен щекочут серое немецкое небо. В суровом темнокаменном замке показывают комнату, где был убит граф Валленштейн, герой тридцатилетней войны.

Лагерь был расположен в двух-трех километрах от города на широкой безрадостной равнине и своим внешним видом не отличался от других лагерей: забор из колючей проволоки и черные приземистые бараки с маленькими, как в товарных вагонах, оконцами. В лагере была деревянная мечеть, выкрашенная в белую краску, с высоким тонким минаретом.

Австрия заигрывала с мусульманами, и русские пленные-татары были собраны в отдельном лагере. Это им построили мечеть, и к ним приезжали турецкие муллы и офицеры уговаривать их записаться в турецкую армию, из которой будто бы вел прямой путь в Магометов рай. Кажется, эта агитация имела ничтожный успех,

за татарами перестали ухаживать, и теперь в Эгер присылали много русских.

Я попал сюда случайно. Я записался на работы, чтобы избавиться от надоевшего мне лагеря в Миловицах, но работа скоро закончилась, и нашу группу отправили в ближайший лагерь — Эгер, и здесь я прожил три месяца, самое скверное и мучительное время из того, что я провел в плену.

Нас привезли вечером. Мы устало промаршировали по дороге, отделявшей лагерь от города.

В караульном помещении нас встретил капрал, черноусый венгерец, самоуверенный человек с крикливым голосом.

Он пересчитал нас и повел в лагерь. Мы шли по деревянным мосткам. Кругом была полузамерзшая мартовская грязь.

Та часть лагеря, куда нас привели, была совсем пустынна. Нашу группу — человек в шестьдесят — поместили в огромном, рассчитанном человек на четыреста, бараке. Было холодно. Угольная электрическая лампочка, одна на весь барак, совсем не давала света. Тонкие, продырявленные наши шинели грели плохо. Одеял не было, тюфяков тоже. Холод согнал нас в тесную кучу, и мы сбились, как тараканы в покинутой избе. Ночь прошла скверно. И все-таки спали, разбитые дальней дорогой.

Невеселый мартовский рассвет показал посиневшие сжатые лица, черняки под запавшими глазами, острые, как у мертвецов, носы. Начались перебежки. Бежали

из одного конца барака в другой, чтобы согреться, но слабые ноги не несли, дыхание переходило в хрип, и люди опять сбивались вместе, ища друг у друга скудного тепла.

В семь часов пришел вчерашний ефрейтор. Он торопливо пересчитал нас и визгливо прокричал:

— Хлеба получат, чай пит!

Мы выстроились в одно мгновенье. Котелки звякали один о другой. Чай принесли в цинковых прокопченных баках. Жирная радужная пленка, какая бывает от нефти, плавала на чае.

Повар в грязном переднике черпаком плескал в котелки зеленоватую жидкость. Ефрейтор стоял тут же и на каждых четырех человек выдавал один хлеб, весом в кило.

Мы жадно глотали горячую горьковатую бурду. Пили тут же, стоя, желая скорее согреться. Потом делили хлеб. Это был целый, выработавшийся в плену, ритуал. Подстилали шинель, чтобы при разрезании не пропадала ни одна крошка. Разрезанные куски взвешивали на самодельных, нехитрых весах, сделанных из трех палочек: одна служила коромыслом, две других были вместо чашек, их заостренные концы втыкались в хлеб.

Пошел мокрый снег. В девять часов опять прибежал ефрейтор и велел итти за тюфяками. Мы шли гуськом по узким деревянным мосткам. Тюфяки были свалены в одном из пустых бараков. Тяжелый запах стоял над ними. Их наволочки были истерзаны прежними владельцами, и побуревшая солома свисала с их прода-

вленных боков. Ефрейтор царским жестом указал нам на них: выбирайте, какие вам нравятся. К тюфяку давалось тоненькое одеяло. Наш печальный караван потянулся обратно. В бараке разостлали тюфяки. Садомов и Тюшин, земляки, ярославцы, весело хохотали. Каждый из них ухитрился унести по два тюфяка, и теперь они разминали их и встряхивали, чтобы было попышнее. Один выметал грязные нары, другой застилал тюфяк поверх казенного своим собственным пестреньким одеялом и у изголовья укрепил иконку Николая угодника и рядом с ним девицу, вырезанную из конфетной коробки.

Как всегда и везде, даже в самых скверных условиях, люди начали устраиваться. Натаскали откуда-то щепки, мусор и затопили железную печку, стоявшую среди барака. На печку сразу поставили с десяток котелков с водой. Ставили так хитро, что между котелками совсем не было промежутков, и ни один дюйм не пропадал зря. Вокруг печки уселись кругом. Придвинулись так близко, что задымилась прелая солдатская одежда.

На работу по случаю первого дня прибытия не гнали. Люди жадно вбирали тепло худыми, исхолодавшимися телами. Обжигались и вздыхали от наслаждения. Маленький курносый Горячков, тихий и безответный парень, плотник по профессии, конфузливо улыбаясь, снял огромные австрийские ботинки и, размотав коричневые лоснящиеся портянки, стал расправлять пальцы и выбирать между ними черные катышки слипшейся грязи.

— Эх, в баню бы,— задумчиво и горестно прогово-

рил Тюшин,— попариться бы веничком, господи ты мой, Иисусе милый...

И он, почесываясь, стал рассказывать, как хорошо ему служилось в Егорьевске, староверческом городке.

— Староверы все богатые,— медленно и видимо растягивая удовольствие воспоминаниями, говорил он,— живут на тихих улицах, ворота у них всегда на замке, заборы глухие и наверху гвоздями утыканы. Пройдешь мимо, и слышно, как псы цепями гремят и кидаются, и лай у них ревучий и до того злой, что невольно человек подальше отходит — страшно становится.

Он зажмурился, вздохнул и продолжал:

— И познакомился я, братцы, с кухаркой купца Хлудова — изумительной, скажу вам, бабой, сдобной до невозможности. Уж до чего трудно ее привлечь было, два месяца не верила, пока я не прикинулся, что состою в ихнем обряде и будто бы в двуперстие перешел. Лазил я к ней в черную калитку, плакала она от страха, однако принимала и кормила купцовыми пирогами до ужаса. Стал я гладкий и розовый, так что наш ротный капитан Виноградов все мною хвалился: вот, говорит, какой у нас харч для солдата, прямо убойная пища. Молодец ты, говорит, Тюшин, очень я тобой доволен.

Визгливый голос венгерского ефрейтора прервал его рассказ. Ефрейтор бежал по проходу между нарами, толкал людей, срывал их с постели и велел строиться. Привыкшие к всевозможным бедам пленные равнодушно толпились возле печки, пока наш старший барака, унтер офицер Алимов, не скомандовал становиться.

В барак вошел австрийский врач, за ним санитар с сумками и в конце — русские фельдшера со столиком. Столик поставили возле печки, на нем разложили иод, бутылочки с бензином и другой какой-то жидкостью и шприцы.

— Прививка на тифус,— важно прокричал ефрейтор, очевидно гордившийся своим знанием русского языка,— рюсси, стано-вись... левий рука голый... скоро...

Пленные мрачно и неохотно подходили к столику. Они боялись прививок, происходивших неоднократно и измучивших их.

Самые смелые и хитрые ныряли под нары и там отсиживались. Прививку делали одни фельдшера. Они натирали бензином руки пленных, набирали жидкость в шприц и, двумя пальцами захватив кожу, втыкали тупую иглу. Под кожей набухал желвачок от еще нерассосавшейся жидкости, люди вскрикивали, морщились и ругались, так как весь этот процесс был очень болезненным. Особенно мучили тупые иглы, с трудом прорывавшие кожу. Прививка длилась долго. Было за полдень, когда унесли столик, и только на полу осталась грязная вата и клочья бумаги. Тюшин, избежавший прививки, высунул из-под нары рыжую голову и, ругаясь, побежал за котелком.

— На обед,— прокричал он, и, хотя обеда еще не было, все бросились за котелками.

Замасленные кохи пришли не скоро, и когда исходящие густым паром баки опустили в снег, мы, ожидая их, успели замерзнуть. Мучнистая, плохо посоленная жид-

кость без картошки и мяса казалась все же вкусной. Котелки обсасывали даже снаружи, если на их боках застревала хотя капля супа.

Ко мне подбежал Горячков с двумя котелками.

— Дозвольте, я вам помою,— сказал он,— я вот и другим мою.

Я отказался, но он, застенчиво улыбаясь, настаивал, и я отдал ему свой котелок. Там со стенок натекло с ложку супа, и он тщательно выскреб его и съел. Потом я всегда оставлял в котелке немного супа, хотя сам мог съесть его чуть не ведро: неловко было перед парнем, услужливым и голодным до чрезвычайности.

Время проходило тяжело. Донимал холод и голод, и к тому же долго не приходили на новое место письма и посылки.

Первым получил посылку Карьяков, мой сосед по нарам, грузный, непредприимчивый человек, чиновник пробирной палаты, с пятнистым, словно сделанным из коричневого линолеума лицом.

Посылки присылала ему из Москвы его любовница, пожилая купчиха, которая, однако, здесь казалась нам всем сказочной феей. В деревянных, запакованных в добротное полотно ящиках, выложенных внутри вощеной бумагой, лежали копченые колбасы, консервы и другие прекрасные вещи. Тяжелый, как слон, равнодушный к отчаянным взглядам товарищей, Карьяков уселся на нарах и медленно пожирал все эти сокровища, чавкая и вздыхая. Насытившись, он забил ящик гвоздями и поставил его под подушку.

Ночью я не мог уснуть. Мы лежали с Карьяковым по обе стороны нар так, что наши изголовья соприкасались, и нестерпимый, дурманящий запах истекал из-под его подушки. Я тихо протянул руку, пытаясь отодрать стенку ящика, но ничего не выходило. Спал я плохо. Меня мучили кошмары, снилось, что я прогрызаю зубами ящик, всовываю в дыру голову и ем копченую колбасу. Слюни текут изо рта, колбаса твердая, и мне нечем ухватить ее (только голова в ящике), и она лезет в горло и душит меня. Задыхаясь, я проснулся. Кто-то мычал или выл, что-то тяжелое давило меня. Я рванулся и выскочил из постели. Угольная лампа едва светила, борты двухэтажных нар мутно высекались из полутьмы, и весь барак был похож на огромную шахту. Карьяков сидел верхом на каком-то человеке и рвал его, а тот мычал, не отрывая рук от лица, и прятал голову. Шея его сокращалась в судорогах, как будто он что-то жевал и трудно глотал.

— Помогите же,— в отчаянии застонал Карьяков,— он жрет мою посылку.

Бешеным усилием ему удалось повернуть вора на спину, и я увидел, что тот руками и зубами держит копченую грудинку, глаза его закрыты, по лицу текут слезы, и он жует. Карьяков, рыча, бил его по голове, по животу и топтал ногами. Он ухватил грудинку и рванул ее, но человек волочился по нарам, не выпуская мяса из рук и изо рта и беспрерывно жевал.

Он словно не замечал ударов, только весь собирался в комок и все усилия тратил на то, чтобы не вы-

пустить мяса. Когда Карьяков, наконец, вырвал у него полусъеденный кусок, он медленно приподнялся и шумно, с присвистом вздохнул.

— Мало поел,— с неожиданным добродушием сказал он, меряя глазами грудинку, с фунт, не больше.

И, спокойно уходя, заботливо, без всякой иронии, осведомился:

— Чать ручки об меня здорово оббили? Мы ведь луженые.

— ———

Тюшин раздобыл где-то сливочное масло и стал им торговать по семьдесят пять геллеров за осьмушку, что было неслыханной ценой. Однако у него покупали, так как, даже имея деньги, было трудно что-нибудь достать в лагере.

Нас было немного, все мы сбились поближе к печке, и другой конец барака был пуст. Там прогуливался Мельников, семинар, угрюмый, тяжелорукий человек с черными ввалившимися глазами. Он напевал глубоким басом и иногда, когда никого не было, становился и в узком проходе для большей устойчивости хватался за нары и оглушительно кричал:

— Проклятый мир, презренный мир...

И узкие высокие оконца дзенькали и колебались, и гуденье волнами шло по пустому бараку.

Мельников голодал, как и все, жившие на казенном пайке, и желтая кожа неприятно лоснилась на его широких скулах. Единственной ценной вещью у него был

длинный шерстяной шарф, которым он кутал себе горло: берег голос, так как верил в свою судьбу.

— У меня чистейшее профундо,— говорил он мрачно,— если не подохну в Австрии, на басе отъемся.

И вот однажды я увидел Мельникова без шарфа.

Он торопливо лез к себе на нары и придерживал круглый роскошный белый хлеб. Оказалось, что он продал шарф и купил хлеб у Садомова за пять крон— тройную по крайней мере цену.

— Что же вы, Мельников,— сказал я,— разве можно столько за хлеб платить?

— С голоду,— глухо ответил он.— Раз хоть нажруся, увидал хлеб и не вытерпел. Были бы десять крон, отдал бы десять.

Голод повелевал всей нашей жизнью в этот период. Все наши мысли и поступки диктовались тогда одним побуждением: поесть. Большинство разговоров сводилось к тому, как ели, когда были в России.

У Борского, красивого парня с нежными по-девичьи чертами лица, во время обеда упала чашка с кашицей.

Борский вскрикнул, опустился на колени и ложкой собрал с грязного пола всю гущу. Никто не смеялся — все смотрели серьезно и с сочувствием, как, вероятно, смотрели бы в безводной пустыне на человека, пролившего воду.

Время до обеда проходило томительно, особенно тогда, когда не гнали на работу, и вот австрийцы придумали для нас новое дело. Пришел наш ефрейтор и с обычной своей важностью заявил нам, что комендант

лагеря распорядился ввести для нас маршировку, чтобы мы не теряли солдатского вида. Трудно было придумать что-нибудь более глупое и бессмысленное, чем обучать солдат государства, с которым воюешь, однако это было так.

Нас выгнали на улицу и заставили унтер-офицера Алимова командовать. Было что-то жалкое и нелепое в слабосильных, замороженных пленом людях, марширующих хилыми, гнущимися колоннами. Солдаты ругались, им казалось, что их унижают и издеваются над ними. Приходили австрийские офицеры, становились сбоку, растопырив ноги в желтых гетрах, и самодовольно говорили, что русские солдаты никуда не годятся. Нам было стыдно и противно: какими же скотами, какими людоедски жестокими и тупыми бывают порой люди и созданные ими порядки!

В прежнем лагере, где я жил, в Миловицах, я все время работал в госпитале. В списках я был отмечен медиком, и вот за мною пришли по приказанию старшего врача местного госпиталя. Австриец с повязкой Красного Креста на рукаве с любопытством осмотрел меня и сказал, что мне нужно собираться в госпиталь. Ефрейтор с таким видом спросил меня, почему я не заявил ему о том, что я медик, как будто я этим поступком нанес ему личную обиду. Товарищи провожали меня. Горячков застенчиво подал негнущуюся руку и вздохнул с сожалением: не то по мне, не то по жалким

остаткам супа, которые он доедал из моего котелка. Карьяков пугливо смотрел на мое освободившееся место.

— Жаль, что вы уходите,— сказал он.— Кого еще бог пошлет на ваше место? Обязательно обворуют.

Я не сдержал улыбки: если бы он знал, как близок я был к тому, чтобы обокрасть его.

Австриец повел меня.

Прощай, барак, терять мне тут нечего.

Госпиталь помещался в другом конце лагеря, за отдельной оградой. Бараки были ниже лагерных, и в них почти вплотную стояли железные койки с тюфяками, провисшими вниз, как животы у малосильных кляч. Обстановка была такая же, как и в Миловицком госпитале. Меня поместили в бараке для туберкулезных. Тут были большей частью татары. Гнилой воздух пропитывал все помещение. Желтые скуластые лица больных казались еще скуластее и желтее от съевшего их туберкулеза. Редкие колючие бороды были точно приклеены к ввалившимся щекам. Широкие носы еще более расплюснулись и опавшими ноздрями прилегали к лицам. Харканье, кашель, свистящее дыхание и стоны слышались непрерывно. Меня проводили в маленькую комнату, отделенную лишь перегородкой от больных.

Старый усатый фельдшер встретил меня добродушно.

— Помощник будете,— сказал он по-украински певуче,— а то заморился один. Ось вам постелька, подушечка и одеяльце. Простыньку вам от капрала достану.

Комнатка выглядела прекрасно, особенно после нар, но было тяжело от близости десятков умирающих людей.

Через час я уже работал. Надев белый, весь в пятнах халат, пошел мерить больным температуру и давать им порошки. Они с любопытством смотрели на меня, спрашивали, откуда и как я попал сюда. На широких деревянных досках служители разносили им синеватое молоко. Больные жадно хватали фаянсовые чашки. Пили причмокивая, медленно, видимо стараясь растянуть наслаждение. Но один больной не пил молока. Я подошел к нему. Это был совсем молодой татарин, в последнем градусе болезни. Серая рубаха его была расстегнута. Грудь провалилась так глубоко, что под ключицами были настоящие ямы.

— Пейте молоко,— сказал я.

Он слабо улыбнулся и покачал головой. У него был сильный жар. Я поставил градусник. 38,6. Кожа была суха. Узлы костей явственно проступали под тонким одеялом. Болезнь доедала его. Я напоил его с ложечки. Он с трудом глотал. Белые капли, как пена, остались на запекшихся губах. Его сосед, пожилой татарин в тюбетейке, ласково посмотрел на меня.

— Ты не трудись,— вразумительно сказал он.— Бог все сделал. Видишь, он не может пить, так бог судил. Он уже три дня не пьет. Я пью.

И он спокойно перелил молоко умирающего в свою чашку. Не пропадать же молоку.

В двенадцать часов пришел врач, сухой, по виду напуганный старичок. Он, подпрыгивая, ходил по ба-

раку, одних больных пропускал, к другим подходил, стукал сухоньким пальчиком по груди или махал рукой, и тогда Сивач, усатый фельдшер, быстро подымал больному рубаху и прикладывал чистое полотенце, сквозь которое врач слушал грудь и спину. Он кивал, как попугайчик, спрашивал:

— Ну, как се маш? — и, не слушая ответа, торопливо говорил: — доверовы прошки, микстуру.

Эти два средства были, кажется, единственными лекарствами здесь. Больше ничего не было. Возле молодого татарина врач задержался, потребовал было полотенце, но не стал слушать больного и слабо махнул рукой.

В общем он был не плохой человек. Через несколько дней он тихонько жаловался мне, что ему уже шестьдесят лет, что он детский врач из Теплиц-Шенау и должен здесь возиться с этими бедными ребятами (Mit diesen armen Teufeln).

Сивач был ленив и скоро всю работу взвалил на меня. Я делал ее охотно: скорее проходило время, да и жалко было пленных, умирающих в чужой стране. Все они, старые и молодые, прошедшие войну и плен, во многом походили на детей. Радовались каждой мелочи, были легковерны и легко впадали в уныние. Меня поразило, что даже самые слабые из них не думали о своей болезни и поступали так, как будто все они были здоровы. Они охотно покупали новые вещи и радовались им

несказанно. Помню, как-то раз, когда я вместе с австрийцем собирался в Эгер, больные закидали меня поручениями. Один из них, Бородулин, просил обязательно купить ему щеточку для усов с зеркальцем. Липкими от пота пальцами (у него был активный процесс) он достал деньги, и когда я принес ему щеточку, он смеялся от радости и показывал ее всем. Его окружили больные, и он важно приглаживал свои редкие усы, и его белые губы кривились улыбкой.

Из лагеря выпускали редко, и, конечно, возможность побродить по улицам и магазинам была очень привлекательна. Можно было глядеть на живых, настоящих людей (такими казались все, кто жил на свободе), на женщин и детей, делать покупки, выпить кофе в кондитерской. В одном магазине я купил кое-какие вещи. Продавщица — маленькая, белокурая немочка — ласково говорила со мной. Она расспрашивала меня о моих родных и деликатно, с женской нежностью сказала, что война, вероятно, скоро кончится и я смогу вернуться домой. Я спросил ее, почему она так думает.

— О,— уверенно воскликнула она, подымая глаза как на молитве,— Гинденбург сказал, что войне скоро конец.

Она взялась рукой за медальон, висевший у нее на груди, и я заметил на нем массивное лицо фельдмаршала.

— Вы его любите?— спросил я.

— Я его люблю,— сказала она солдатским голосом и выпрямилась, как фельдфебель на параде.— Он спаситель нашей родины.

Бедная маленькая мещаночка! Таких не переделаешь.

Несомненно, она и теперь после войны и революции продолжает любить Гинденбурга, президента Германской республики.

Эгер расположен на самой германской границе, и это сильно чувствовалось. По улицам маршировали самые настоящие германские лейтенанты, шуцманы стояли, как колонки с лакированными верхушками, и всюду была казарменная суровая чистота. И только почти полное отсутствие мужчин в штатском, очереди бедно одетых женщин у пекарен и раненые, попадающиеся везде, говорили о войне. Присмотревшись, можно было заметить больше. На лицах были усталость и тревога. Шестнадцатый год обескровил страну. Не было хлеба, мяса и масла. Впервые за все время стали продавать конину. Не было кожи, и деревянные подошвы у жен и детей рабочих непривычно стучали по камням. Жизнь, на первый взгляд текущая шумным ручьем, в самом деле засыхала и сжималась.

В госпиталь я вернулся вечером. Вонь в бараке почти задушила меня. Я пробежал к себе. Сивач, одетый, похрапывал на постели.

— Погуляли?— сонно спросил он.— Хороши фрейлины?— и уснул не дожидаясь ответа. Спать он был здоров.

Скоро за мной пришли. Звали к больному. Я пошел в барак. Многие больные уже спали. Тусклый свет лампочек затушевал предметы, и лица спящих казались свежими и здоровыми. Надо было впрыснуть морфий Гафизову, страдавшему бессонницей. Гафизов был мяс-

ник из Уфы. Он упорно не поддавался болезни, но в борьбе с ней потерял покой. К морфию он привык и капризно требовал, чтобы ему делали впрыскивание каждый вечер. Он сидел, оголив левую руку, и радостно кивнул мне.

— Спасибо, спасибо,— сказал он.— Ох, сон будет сладкий.

Он любовно смотрел, как игла проколола его кожу, и сейчас же лег. Я прошел в угол, где помещался молодой умирающий татарин. Он сидел сгорбившись и смотрел на пол возле своей кровати. Там на маленьком коврике молился его сосед, старик в тюбетейке. Старик простирал вперед руки и падал на коврик, касаясь его лбом. Я пробовал уложить больного, но он не давался.

— За меня молится,— строго сказал он, кивая на старика.— Может лучше будет.

Надо было уходить. Одним нужен был морфий, другим молитва.

Уходя, я услышал сдержанный шум. На койке Бородулина, больного, которому я купил щеточку для усов, сидело несколько человек. Играли в двадцать одно. Огарок в бутылке освещал осунувшиеся, полумертвые лица. Бородулину не везло. Он злыми глазами глядел на партнеров, и пот тек по его впалым вискам. Он бросил на кон смятую крону, по-здешнему крупную ставку, и вдруг жестокий приступ кашля сломил его. Он согнулся, хрипел, но не спускал глаз с банкомета. Тот открыл себе десятку, короля и валета и колебался,

прикупить ли еще. Наконец, он плюнул и выкинул семерку. Бородулин со стоном протянул руку. Кровь закапала на его рубаху из открытого, трудно дышащего рта, но он не замечал ее и ждал, пока ему отсчитают выигрыш. Я сказал игрокам, чтобы они ложились, но они не слышали.

Так в бараке играли почти каждую ночь.

С утра началась суетня. Комендант барака, полный немец холерического темперамента, поднял нас чуть не на рассвете и велел получать для больных чистое белье. Служители мыли и скребли барак, счищали паутину из углов и протирали запыленные окна. Оказалось, что ожидали старшего врача, который сегодня должен был отобрать больных для отправки в Россию, в обмен на австрийских инвалидов, бывших в русском плену.

Весть эта вызвала необычайное волнение. Больные не знали, кого будут отбирать — самых ли слабых, или тех, кто покрепче и смогут, следовательно, перенести долгое и трудное путешествие. Нельзя было спокойно смотреть на жалких обитателей барака. Они брились, причесывались, расправляли свои иссохшие члены, прикрытые дряблой кожей. Наоборот, здоровые ежились, горбились, залезали поглубже под одеяло.

Среди больных был Джерадзе, социал-демократ. Он нервничал ужасно: сжимал руки, глухо стонал, бегал и расспрашивал всех.

— Скажи, скажи же, фельдшер,— шептал он, хватая

меня горячими руками,— как думаешь, отправят меня? Ах, скажи, не мучь...

И погасал, и плакал, и безнадежно прятал в колени черную голову, и опять бегал по бараку.

Старший врач пришел в двенадцать часов в сопровождении нашего и еще каких-то двух врачей. Капрал, стукнув каблуками, чугунным голосом отрапортовал ему.

Старший врач пошел между кроватями, осторожно неся тяжелое брюхо, морщась от вони или от каких-то неприятных мыслей и, видимо, торопясь.

— Сколько возьмем из этого барака?— спросил он у нашего врача.

— Восемь человек, господин штабс-арцт,— гибким голосом ответил наш старичок и низко поклонился.— Я думаю, вот этот... потом этот...

— Ах, все равно,— равнодушно перебил старший врач.

Он остановился возле койки Гафизова, и его взгляд упал на татарина. Он рассеянно склонился к нему, и наш врач так же быстро, как Сивач подавал ему, подал старшему врачу полотенце. Тот приложил ухо к гафизовой спине, стукнул по его груди пальцем и кивнул головой. Капрал записал Гафизова. Бородулин, приглаженный своей щеточкой, молодцевато сидел на койке. Его череп проглядывал сквозь утлую кожу и узкие глаза смотрели, как из глубоких бойниц.

— Здравья желаю, ваше превосходительство!— дико выкрикнул он и весь сломился от кашля.

— Ну, ти,— сказал старший врач, брезгливо тыча

в него пальцем.— Ну, ти, ти в Русска не годный, земржешь, на дразе.

Он отошел дальше, и Бородулин, глядя ему вслед мертвыми глазами, лаял, кашлял, выл...

Джерадзе сидел на своей кровати. Бурые пятна пятнали его щеки, черные глаза не отрывались от грузной фигуры старшего врача, но тот прошел мимо, даже не посмотрев на него.

Семь человек было уже отобрано, и не хватало только одного. Возле молодого татарина старший врач на секунду остановился. Торопился ли он, или полутьма в углу помешала ему разглядеть сидящего больного, но только он ткнул в него пальцем и быстро вышел из барака. Наш врач сделал было к нему движение, но не посмел тревожить своего начальника и слабо махнул рукой. Капрал записал больного и крикнул ему:

— Дому идешь, понимаешь?

Татарин тихо засмеялся, смех булькал в его горле, как вода, льющаяся из бутылки, и, смеясь, он стал падать головой на подушку. Его сосед сердито забормотал что-то и подошел к нему.

Служители быстро разбирали чашки. Обед и так запоздал. Джерадзе с лицом, залитым слезами, сидел на койке Гафизова.

— Гафизов,— говорил он стуча зубами,— ты в Россию поедешь, спаси меня, Гафизов. Пошли письмо в Петербург депутату Чхеидзе. Пускай все делает, он меня с Кавказа знает, пускай спасает.

Он всхлипнул, глотнул воздух и продолжал:

— Пропадаю, скажи, сдыхаю, как собака... Напиши, Гафизов...

Гафизов молча кивал ему. Лицо его было насторожено, как у волка, он, видимо, не верил еще своему счастью, боялся спугнуть его.

Разносили обед. Я пошел к молодому татарину (меня беспокоила его неподвижность), но старик не пустил меня. Он прикрыл больного с головой и упрямо говорил:

— Ему покой нужен,— не трогай пожалуйста. После обеда приди.

И жадными руками он принял обед для себя и для молодого и поставил чашки на стул подле кровати.

Через час я пришел снова. Чашки были пусты, и старик, тихо и нараспев читая по-татарски, усаживал своего соседа лицом на восток, подкладывая ему под спину подушку. Я взял руку молодого татарина. Он был мертв, он успел даже остыть.

— Что ж ты не сказал мне!— с досадой спросил я у старика.— Ведь он еще до обеда умер.

— Ты не сердись,— ласково сказал старик,— зачем обеду пропадать? Сказал бы, что умер,— не дали бы обед. А тебе все равно, когда умер: до обеда, после обеда. Теперь уйди. За него молиться буду.

И он важно стал расстилать по полу свой коврик.

ФЕВРАЛЬ—ОКТЯБРЬ 1917 г.

К моменту Февральской революции в Германии и Австро-Венгрии насчитывалось около двух миллионов русских военно-пленных. За очень небольшими исключениями они жили в самых чудовищных условиях. Центральные державы погибали от недостатка средств. Сто двадцать миллионов гражданского населения были целиком подчинены нуждам гигантских фронтов. В городах (кроме самых больших) была ужасающая тишина. На улицах попадались женщины, дети, раненые. Дети были бледные, тонконогие, с запавшими, серьезными глазами. Молодой мужчина в штатском вызывал всеобщее внимание. На него оглядывались, в его фигуру всматривались со злобой и удивлением: здоров, не калека,— почему же он не на фронте? На каждой улице были госпитали. Удушливый запах иодоформа и гнили истекал от них.

Армия военно-пленных разложилась гораздо раньше, чем армия на фронте, и стала огромным сборищем отчаявшихся и озлобленных людей. Среди них было бы смешно вести какую-нибудь патриотическую пропаганду. Они

со скукой и презрением относились ко всему тому, что не касалось их собственной участи. Они медленно умирали и видели, что царское правительство бросило их на произвол судьбы, как только они стали ему не нужны. Лишь редкие письма и изредка холщевые мешочки с черными сухарями приходили из далекой родины. Американские и шведские благотворительные общества оказывали микроскопическую помощь.

Вести из России не давали радости. Из деревни писали о податях, о реквизиции скота на военные нужды, о полях, которые некому было обрабатывать. Из городов сообщали о дороговизне, об отсутствии самого необходимого. Пленные тысячами погибали от тифа, дизентерии и истощения. Возле каждого лагеря росли унылые кладбища, и белые шеренги безымянных крестов занимали австрийские и венгерские поля.

На тесных и грязных островках земли, отгороженных от всего мира колючей проволокой, в зловонных, холодных бараках безысходно умирали сотни тысяч людей, брошенных сюда во имя защиты царя, отечества и веры.

Рано утром начиналась лагерная жизнь. Разносили хлеб по четверти кило на человека в день и чай — зеленоватый настой крапивы, совершенно не сладкий (считалось, что сахар кладется в чай). Хлеб съедался тут же при получке, и весь день люди ходили голодные. В восемь часов выгоняли на работу. Шли невыносимо медленно, как идут на похоронах. Ослабевшие руки с

трудом поднимали лопаты и кирки. Австриец-надсмотрщик, старый ополченец, сосал почерневшую трубку и глядел безжизненными глазами. Он знал, что бесполезно понукать измученных пленом людей, да и самому ему было немногим лучше, чем им. В лагерь возвращались так же медленно: там не было ничего хорошего. В полдень приносили почту. Деревня скупа на письма, почти все пленные получали письма раз в три-четыре месяца, но все же глядели с надеждой,— вдруг придет к ним какая-то неожиданная, счастливая весточка.

Обед не утолял голода. Многие доливали котелки водой, чтобы было больше жижи. У кухни всегда дежурили кучки людей. Они стерегли кухарей, выносивших в помойку очистки овощей. Яму брали штурмом. Всякая брезгливость давно исчезла. Счастливцы, получавшие кое-какие гроши, шли в кантину — жалкую лагерную лавочку. Покупали селедку и съедали ее целиком — с головой и хвостом, слизывая с бумаги приставшие к ней чешуйки.

Вечерами шли в лагерный клуб. Слушали репетицию лагерного духового оркестра, глядели на тусклый огонь керосиновой лампы и ждали чтения немецкой газеты, которую переводил им вольноопределяющийся, выписывавший ее из Праги.

Сведения о боях принимали молча. Им было безразлично, кто победит — русские или немцы — хотелось только мира, и они радостно встретили бы и победу германцев, если бы она принесла им мир.

Первые вести о Февральской революции произвели потрясающее впечатление на пленных. Но в то время, как интеллигентская часть лагеря радовалась конституции, свержению самодержавия и в упоении повторяла имена Милюкова, Чхеидзе, Церетелли и Керенского, основная масса пленных, которой эти имена ничего не говорили, интересовалась другим: приблизит ли революция наступление мира, спасет ли она их от смерти, вырвет ли из плена и вернет ли домой?

Начались митинги, клуб украсили красными флагами. Распевали «Марсельезу» и «Варшавянку». Австрийцы не мешали, так как надеялись, что революция поможет им заключить с Россией сепаратный мир.

Уже тогда в лагере начались бурные дискуссии, в которых участвовали главным образом интеллигенты, а масса внимательно наблюдала, но редко вмешивалась.

После первых опьяняющих вестей пришли другие, холодные и спокойные. Отрекся Николай, за ним Михаил, была провозглашена республика, но Милюков уже торжественно объявил о верности союзникам, о войне до победного конца, Керенский клялся отдать свою кровь для спасения родины, и патентованные социалисты из Бельгии и Франции ездили скреплять ядовитым елеем разваливающийся русский фронт.

Итак, война продолжалась, новое правительство, как и царское, требовало солдатской крови, и миллионы рабочих и крестьян, сидевших в окопах от Черного до Балтийского моря, так же просто и безошибочно поняли это, как и миллионы их братьев, погибавших за колючей

проволокой в лагерях Германии и Австро-Венгрии. И те и другие отвернулись от Временного правительства, перестали ему верить и стали его врагами.

Задолго еще до октября, отрезанная от России, вся масса пленных, за небольшими только исключениями, научилась ненавидеть Временное правительство и не доверять ему. В лагерях назревали те же сдвиги и настроения, которые ломали русский фронт за тысячу километров отсюда. В своих бараках, сбиваясь тесными кучками, в злобе, бессилии и тоске пленные рассуждали так:

— Сделали революцию солдаты, потому что не в силах были больше воевать. Царя прогнали потому, что царь был за войну. Стало быть революция должна означать конец войны. Но конца не видно — значит произошло что-то неладное, где-то там обманули, продали, и солдаты остались в дураках. Никогда не было, чтобы солдату хотелось воевать. Драться он шел только по принуждению. И фронтовики должны показать, что они не согласны больше воевать. Неужели не покажут?

Трудно представить, с какой буйной и глубокой радостью встретили в бараках первые вести о возникшем братании на фронте, о массовом дезертирстве солдат и о их нежелании итти в наступление. Это было как раз то, что они ожидали от своих товарищей, это было настоящее дело, оправдывающее революцию. И как раз те сведения, которые приводили в бешенство и отчаяние всю интеллигентско-буржуазную верхушку лагеря, были для них самыми сладкими, законными и желанными. В лагере

назревала большая рознь, глубокий раскол между двумя слоями людей, желания и интересы которых расходились под углом в сто восемьдесят градусов. Они становились врагами, ненавидели друг друга и готовились к упорным схваткам.

Замечательно было, какое сочувствие находили люди барака, бедняки, медленно умирающие с голоду на казенном пайке, среди австрийских ополченцев, охранявших лагерь. Ополченцы приходили в бараки тайком от своего начальства, чтобы сообщить о новостях, вычитанных ими из газет, и о том, как они рады русской революции. Они жадно выспрашивали, скоро ли революция положит конец проклятой войне, и правда ли, что русские солдаты братаются на фронте с немецкими и австрийскими солдатами? Глаза у них блестели и ноздри раздувались — они потрясали своими трубками — ах, если бы и у них произошло что-нибудь такое. Разве им нужна война?

И, уходя, они трясли руки пленным и полушутя, полусерьезно просили их торопить своих товарищей на фронте поскорее кончать с войной.

Весна наступала неохотно, и когда в апреле потеплело, люди не поверили теплу. Они выползали, как крабы, из промороженных бараков и недоверчиво щурились на теплое солнце. При свете было тяжело смотреть на них. Они не брились, так как не было возможности, самые молодые из них казались стариками, губы у всех были белые, лица землистые, и не только щеки, но и вис-

ки у них провалились. Ходили они согнувшись, нетвердой походкой, и их глаза были подернуты тусклой пленкой, как у ночных птиц. Многие разучились смеяться и улыбались как-то по-мертвому, не по-человечески. В желтых, обескровленных деснах шатались зубы — у всех поголовно была цынга, нельзя было жевать хлеб, и часто бывало, что человек пальцами выгаскивал свои зубы и бросал их на землю.

Стояли ясные дни. С гор, окружавших лагерь, веяло теплым ветром, снег побурел, осел и пошел черными дырками. От соснового леса несло клейкой весенней смолой, ее прозрачные коричневые капли густо проступали на сосновых стволах. Приближалась пасха. В лагерной церкви делались пышные приготовления для ее встречи. Никогда еще церковное ядро, центром которого был фельдфебель Охрименко, сменивший уехавшего из лагеря Козеева, с такой тщательностью не готовилось к празднику. Церковники придавали большое значение пасхе. Она должна была по их замыслам отвлечь массу от опасных настроений, навеянных революцией. Бог еще знает, что там будет в России — вернее всего, что злонамеренный бунт против царя и законной власти кончится ничем, а тут в лагере они чувствовали, как отдалялась от них до сих пор покорная армия пленных, как росла ее отчужденность и ненависть к верхушке лагеря, ко всем, недовольным революцией.

В прежние годы пленные все же шли в церковь. Одни молились, другие просто смотрели и слушали пение прекрасного церковного хора. Церковь напоминала им о

прежней жизни, о праздниках, и это было приятно. Настоящих же богомольцев в лагере было мало.

Церковь стали украшать задолго до пасхи. Из леса таскали хвою, сделали новый аналой и соорудили огромнейшие буквы «Х. В.». Церковный хор репетировал каждый вечер, и Охрименко хитро распустил слух, что всем пришедшим в церковь будет выдано чем разговеться. У него были хорошие связи с пекарями, и говорили, что он заказал у них несколько больших куличей. Куличи, конечно, были большой приманкой, и из-за них мог пойти в церковь кто угодно. Белого хлеба пленные не видали очень давно, и даже в продаже его не было.

Сторонники Охрименко с таинственным видом расхваливали своего шефа за то, что он якобы сделал для солдат. Они елейно говорили о том, что единственное, что оставалось пленным,— это возможность хорошо помолиться, и вряд ли церковь вместит всех желающих, потому что народу наверно наберется очень много, и лучше всего сделают те, которые запишутся заранее. А запись принималась у старших барака.

За несколько дней до Пасхи Охрименко пошел по баракам. Он созывал людей и оповещал их о том, что наступает великий праздник и что православному воинству надо встретить его как подобает.

— Ну, всякие там слухи идут,— говорил он, обрубая слова, точно командуя,— так верить им не приходится. Это наши враги стараются, а кто враг внешний и внутренний, так вы про это знаете. Зовем вас, православные

христиане, в церковь, и отказываться не могете. Все приходите. И кроме того разговляться будем.

Он потел, кончая свою речь, но упорно ходил по всем баракам. Его слушали угрюмо, но возражать боялись. В лагере у него была власть, и он мог навредить.

По всей видимости пасха в этом году должна была пройти с особой торжественностью.

И вдруг случилась большая неожиданность. В лагерь прибыла новая группа пленных. Это были первые пленные, переживщие революцию на фронте — первые живые очевидцы тех великих событий, о которых мы как-никак знали только понаслышке. Они видели то, о чем мы только читали, и если была какая-нибудь неправда во всех газетных сообщениях, то теперь мы могли выяснить ее.

Весь лагерь бросился к бараку, куда привели пленных. Они прошли обычный карантин, их шинели, одежда и белье были продезинфицированы и издавали удушливый запах. Их было всего шесть человек, и все они казались нам людьми из нового, прекрасного мира.

Среди них выделялся человек, по фамилии Пахомов, в папахе, с доброй русой бородой и острыми желтыми глазами, в которых точно было налито горячее масло. На пленных набросились сразу, не давая им отдохнуть, и засыпали, как водится, сотнями вопросов. Они отвечали быстро и охотно, и каждая мелочь, которую они нам сообщили, таила в себе столько нового, чудесного и неожиданного, что люди смеялись, недоуменно вскрикивали — да ну?! да что ты говоришь? — хлопали себя

по коленям, качали головами, глаза у них сияли, и на лицах было растерянное и счастливое выражение.

И в самом деле, то, что сообщали нам наши новые товарищи, переворачивало и швыряло к чорту все те обычаи, законы и правила, которые мучили нас во время военной службы. Офицеры стали обращаться к солдатам на «вы», не имели права шпинять их и даже заискивали в них. Солдаты образовали свои комитеты, и комитеты эти сразу получили такую власть, что фактически сделались хозяевами на фронте. Многие солдаты уходили с фронта, и никто не смел их задерживать. Самых плохих и жестоких офицеров поубирали. Устраивали собрания и митинги, на которых обсуждали, стоит ли дальше воевать. Братались с немцами.

Правда, Временное правительство было всем этим недовольно и пыталось потеснить солдат, рассказывали новые пленные, но это ему не удалось. Правительство это хотя и не царское, но что-то вроде него. Стоит за войну. Под него уже подкапываются настоящие люди. Большевики. Большевистские делегаты имеются и на фронте. Они говорят, что войну надо кончать сейчас же, так как воевать не за кого и не за что.

Новым пленным не давали покоя. Всем надо было побывать у них, потрогать их, услышать их рассказы. Пахомов говорил лучше других. Он был питерский рабочий и на фронте председательствовал в ротном солдатском комитете. Он присматривался к лагерной жизни, ходил по баракам, расспрашивал людей и, нечаянно забредши в церковь, спросил с удивлением:

— А это зачем? Неужто без бога не проживете? Бог ведь — его превосходительство.

Он скоро узнал про Охрименко, про лагерные порядки и про ту рознь, которая существовала здесь между зажиточными и людьми барака. Он зло усмехался, слушая рассказы пленных, и желтые глаза его кипели. Он говорил, что так везде, и в лагерях, и на фронте, и дома,— везде обман и несправедливость, и что вот теперь пришло настоящее время все изменить и переделать. Он приводил много интереснейших подробностей из нового солдатского быта, рассказывал о непрерывных солдатских волнениях на фронте и в тылу, о том, как приезжали на фронт генералы и комиссары Временного правительства уговаривать солдат драться, и о том, как начальство в первые дни после революции пыталось скрыть весть о ней от солдат.

И Пахомов и его товарищи совсем не походили на нас, как будто революция смыла с них черную подневольную копоть, униженный и несвободный вид, свойственный нам. И Пахомов признавался нам, что мы поразили его. У них на фронте за те немногие недели, которые прошли со времени переворота, изменилось очень многое. Куда-то к чорту с непостижимой быстротой полетел старый, проклятый быт. Совсем по иному чувствовали и вели себя солдаты. Они не козыряли офицерам, не называли их «ваше благородие», а говорили им «господин поручик», «господин полковник», они все более сознавали свои права, свою силу и власть,

и теперь не легко уже будет их заставить вернуться к старому.

В свою очередь мы рассказывали Пахомову про нашу лагерную жизнь, про мучения, которые мы переносим здесь, и он подбодрял нас, уверял, что теперь осталось уже недолго терпеть и по всему видно, что миллионы людей, сидящих в окопах на фронте, не будут больше воевать и заставят правительство заключить мир. Пахомова спрашивали — а что будет, если правительство не пойдет на мир, и он хмуро отвечал, что тогда наверно солдатский бунт, солдатская революция будут продолжаться, что разнесут фронт со всеми штабами и с генералами, с походными церквами, с полковыми попами, разнесут Питер, министерства, где сидят лодыри и зачинщики войны, разнесут тыл, где схоронились тысячи гадов, сосущих и разоряющих страну. Пахомов рассказывал о питерских и московских рабочих, приславших своих выборных на фронт, о том, что рабочие заодно с солдатами и вместе с ними будут бороться за мир, за хлеб. Он говорил спокойно и негромко, с какой-то значительностью в голосе, и казалось, что он крепко уверен в том, что говорит, что знает он много, и человек опытный и бывалый.

Он сразу не поладил с Охрименко, не выказал никакой боязни перед ним, когда оба встретились, и Охрименко сердито сказал ему, чтобы он не мутил лагерь, и что он такую сволочь в прежнее время сразу бы укротил. Пахомов, не обидевшись, с обычным своим спокойствием, даже задумчиво ответил, что прежнего-то

времени уже нет, и что такие шкуры, как Охрименко, сейчас годны разве что в кашевары, а вернее всего никуда не годны, надо из них мыло варить...

Это случилось как раз накануне пасхи, накануне знаменательного вечера, когда должно было совершиться великое торжество в лагерной церкви. Пышные охрименковские приготовления были закончены, церковь великолепно убрали, десятки восковых свечей и несколько керосиновых ламп должны были ярко осветить ее, пекаря таинственно пронесли туда объемистые кульки, и ожидался приезд священника.

После обеда из канцелярии принесли немецкие газеты. В газетах тревожно писали о том, что новое русское правительство не склонно к миру и что оно решило продолжать войну. В статьях ехидно подчеркивалось, что прежние империалистские тенденции имеются и у революционного правительства, и русский народ, уставший от войны, не получит никаких выгод от свержения царского ярма (des Zarenjoches).

Эти вести сильно взволновали лагерную массу. Сотни людей набились в барак к Пахомову, его спрашивали о положении в России.

Неужели солдаты не могут добиться мира? Что же делают все эти фронтовые солдатские комитеты? Что же делает совет солдатских и рабочих депутатов в Петрограде?

Весь день вокруг Пахомова толпились густые толпы встревоженных, отчаявшихся людей, и было решено,

что завтра вечером он должен выступить с подробным докладом о революции, о положении на фронте, о том, какие перемены можно ожидать в России и скоро ли наступит мир. Весть о его докладе быстро разнеслась по всему лагерю. Люди барака с оживлением и радостью говорили об этом и только немногие смущенно вспоминали о том, что доклад состоится одновременно с церковной службой. А служба в церкви назначена была на шесть часов вечера, так как специально приезжающий священник не хотел поздно оставаться в лагере.

К вечеру следующего дня осветили церковь. У входа, обрамленные зеленой хвоей, горели огромные буквы «Х. В.». Охрименко в новом мундире с жирными фельдфебельскими нашивками важно прошел в церковь. На правом клиросе уже собрался хор. Члены церковного совета делали последние приготовления.

Время приближалось к шести, с минуты на минуту ждали приезда священника, а народа в церкви было совсем мало. Охрименко забеспокоился. Придушенным голосом он распорядился, чтобы старшие бараков побежали оповестить людей и гнали бы их поскорее в церковь. Они ушли. Охрименко каждую минуту выбегал смотреть, не идет ли народ, не едет ли священник. Понемногу набралось человек шестьдесят-восемьдесят, главным образом, из верхушки лагеря, но в просторном бараке, рассчитанном почти на тысячу человек, их совсем не было видно.

Простучали колеса, это приехал священник, и Охрименко и еще несколько человек побежали встречать

его. Священник вошел медленно, ему говорили, что русские солдаты ожидали его с великим нетерпением, что церковь не вместит всех, желающих помолиться в светлый праздник, и он удивился, что почти никого нет. Охрименко тупо глядел ему в глаза. Запинаясь и заикаясь, он бормотал, что сейчас все придут и что можно готовиться к началу богослужения. И пока он объяснял все это священнику, в церковь один за другим вернулись растерянные старшие, с ними пришло человек пятнадцать пленных, и старшие с отчаянным видом доложили, что бараки пусты, и все пленные слушают доклад Пахомова. Священник понял, что случилось что-то неладное, он медлил облачаться и, кусая черную свою бородку, злыми глазами глядел на Охрименко. И когда в семь часов все такой же безлюдной оставалась церковь, ярко и по-праздничному горели лампы и свечи и сиротливо толпился на клиросе смущенный хор, поп потребовал объяснений. И, давясь словами, не то плача, не то воя, Охрименко понес ему путанную чепуху о том, что в лагерь будто бы приехал антихрист, бес, бунтовщик, революционер и подлой души человек, который сейчас, в святой вечер, ведет с солдатами блудную беседу о том, как надо свергать царя и жить в безбожьи. Поп хотя и не понял всего, но сейчас же разоблачился и уехал.

Длинный, просторный барак, отведенный под клуб, был до отказа забит людьми. Лагерь опустел. Даже дежурные по баракам оставили свои посты, множество больных притащилось из госпиталя. Было так тесно, что нельзя было сидеть. Среди рыжих русских шинелей серели австрийские мундиры: несколько десятков австрийцев тайком от своих офицеров пришли послушать доклад о русской революции.

Пахомов говорил, стоя на опрокинутом ящике. Он повторил уже известный многим из нас рассказ о том, как на фронт пришли первые вести о свержении царя, как генералы и офицеры пытались сначала скрыть от солдат эту весть и как резко потом они были вынуждены изменить свои отношения к солдатам. Но рассказ действовал на пленных так же сильно и свежо, как и в первый раз, и часто целая буря криков и аплодисментов прерывала Пахомова.

— Эт-то ты понимаешь?— почти безумно кричал высокий, уже немолодой пленный.— Командиру полка прямо и говоришь «господин полковник», а он тебе «вы». Ах ты, сволочь, ах ты, иисус христос.

Рассказ об образовании солдатских комитетов и о том влиянии и власти, которые они сразу получили среди солдат, опять вызвал крики, аплодисменты и нервные, радостные всхлипывания. Пахомов, подхваченный и возбужденный откликами, которые вызывали его слова, говорил все лучше и горячее. Он приводил множество мелочей, показывавших, как изменился солдатский быт, рассказывал, как солдаты проверяли офицеров, как они

стали принимать участие в управлении частями, как требовали смены жестоких или плохих командиров, как отдавали под суд некоторых генералов и поощряли братание с германцами и австрийцами.

— А царь, царь-то у вас где? — с нестерпимым любопытством крикнул чей-то голос.

Пахомов сделал паузу и наклонился вперед. Его глаза светились, он трудно дышал.

— Царь? — спросил он и, выждав три мучительных для собрания секунды, веско сказал: — Царя теперь в Сибирь отправили, в Сибирь, товарищи, туда, куда он наших братьев отправлял.

Его сообщение произвело потрясающее, страшное впечатление. Образ царя, отправленного в Сибирь, повеял на крестьян грозной, но сладостной жутью.

И сейчас же послышались новые голоса:

— А война? Война как? Почему войну не кончают? Почему в наступление идут? Ведь солдаты теперь сами решают?

Пахомов поднял руку.

— Вот тут-то и главное, товарищи,— сказал он.— Мы наступления не хотели, мы были за мир. Некоторые полки так и не пошли в наступление. Все это буржуазия, все это Керенский.

В клубе началось нечто невозможное. К кафедре пробрались интеллигенты. Они кричали на оратора, на солдат, и Дорохов, очкастый, сутулый меньшевик из Киева, вскочил на кафедру.

— Товарищи,— пронзительно крикнул он.— Наступ-

ление было правильным. Временное правительство для охраны демократии, для охраны добытых свобод должно довести войну до конца. Иначе императорская Германия, Германия Вильгельма...

Ему не дали договорить. Под дикий рев и улюлюканье его попросту стащили с кафедры. Пахомов невесело посмотрел на него.

— Стало быть, и у вас есть такие? — выразительно сказал он, когда наступила тишина.— У нас в России, товарищи, таких много. Из-за них немало крови прольется. У нас, товарищи, только большевики за мир.

Пахомов продолжал говорить. Его слушали с таким вниманием, с такой неизбывной жадностью, что, казалось, говори он всю ночь, до самого утра — никто не уйдет из барака, никто не сдвинется с места. Пахомов и говорил-то не бог весть как хорошо, он не был ни проповедником, ни оратором, голос у него был хрипловатый, повадка простая, слова корявые, но рассказывал он о таких жгучих, новых и прекрасных событиях, о таких могучих сдвигах, свидетелем которых он был и которые обещали скорую свободу и новую жизнь всем этим исстрадавшимся, замученным войной и пленом людям, что, конечно, ни в одной церкви ни один самый умный и талантливый священник не мог бы какой-нибудь поразительной проповедью так увлечь своих прихожан.

Охрименко пришел сюда, когда доклад давно начался. Он послушал, постоял, посмотрел на все эти солдатские лица, преображенные неведомым ему порывом, и тихо вышел из клуба. Никто не заметил, как он вошел, никто

не видел его ухода. Он шел медленно, опустив голову, в раздумьи. Злобы уже не было у него, он был подавлен, встревожен и печален. В первый раз он понял, что действительно случилось что-то очень большое и непоправимое, случилось то, что выбило из наезженной колеи целые страны и народы, и не ему, Охрименко, бороться с этим.

Он посмотрел на небо со смутным страхом и надеждой. Ведь бог сидел там, как корпусный командир, архангелы были у него штаб-офицерами, ангелы поручиками, и вдруг он захочет подать какой-нибудь сигнал, говорящий о его гневе? Но сигнала не было, и Охрименко тоскливо посмотрел вокруг.

Была тихая весенняя ночь, узенькая скобка луны мерцала спокойно и дружелюбно, серебряные зерна звезд были рассыпаны по синей небесной степи и шерстистые облачка спали там, как заночевавшие в поле овцы. Хорошо было в эту ночь, а бедному фельдфебелю казалось, что громы и бури идут откуда-то издалека и сотрясают лагерь.

Он шел вверх по расчищенной по случаю праздника дорожке, и вдруг яркий свет поразил его. Он смотрел долго, не в силах собрать мыслей, и понял. Это перед церковью горели огромные буквы «Х. В.», хотя в церкви было темно, и она была на замке.

Охрименко постоял, подставил лесенку, потушил лампы, горевшие в буквах, и пошел в свой барак.

Большинство пленных состояло из крестьян, мало развитых и забитых нуждой и болезнями людей. Их мысли и кругозоры ограничивались жизнью своих деревень, и только последние события расшевелили их и заставили думать о вещах, прежде мало их интересовавших. До сих пор они да почти и все другие пленные ничего или совсем мало знали о Ленине, о большевиках, о революции.

Тем удивительнее было то, что произошло в следующие дни и недели. В сущности не было и агитации. Пленным попросту стало известно, что новое правительство в самом главном вопросе, т. е. в вопросе о продолжении войны, продолжает политику царского правительства. Они узнали, что у помещиков земли не отбирают и что единственные люди, которые стоят за мир, за национализацию фабрик и за безвозмездную передачу земли крестьянам — это большевики.

О большевиках, об их программе жадно и нескончаемо расспрашивали пленные. Пахомов, единственный большевик в лагере, рассказывал им подробно о советах, о Ленине, о том, как растет большевистское влияние на фронте и в городах, и искренно недоумевающие голоса перебивали его во время этих бесед:

— Экие дураки, наши-то. Почему все в большевики не идут?

В эти дни лагерь стал совершенно иным. Люди были так же голодны и измучены, как и прежде. Материальное положение их даже ухудшилось, так как из России приходило все меньше посылок, а деньги быстро

обесценивались, и за каждый русский рубль платили только по две кроны. Пленные ходили на работу, ели свой страшный суп, но по вечерам они толпами шли в клуб или собирались у себя в бараках и вели нескончаемые беседы и споры.

Мир и земля были темами разговоров, и о них не уставали говорить. Новых пленных в десятый и сотый раз спрашивали обо всем, что они видели и знали. С великим сочувствием опять и опять слушали рассказы о братании с германцами и австрийцами и о том, что солдаты массами оставляли фронт. И долго и упорно допытывались у новых пленных, почему они не сумели окончить войну.

Клочки русских газет, попадавшиеся в посылках, читались с напряженным вниманием. В немецких газетах ловили сведения о большевиках. И когда было напечатано об июльском выступлении большевиков, они встретили это сообщение с радостью и удовлетворением: начинался законный и логичный по ходу событий народный бунт, который они все время ждали.

В клубе снова начались боевые дискуссии. Дорохов метался по кафедре и истерически кричал:

— Они ведь губят свободную Россию! Они призывают брататься с немцами, с жандармами Вильгельма. У них никого нет. Или Ленин или Ульянов? А кто еще?

Его слова встречали бешеными, истерическими ругательствами. С ним спорили простые солдаты. Люди безумели от мысли, что теперь, когда свергнули царя для того, чтобы покончить с проклятой войной, высо-

савшей всю их жизнь, изувечившей их и бросившей сюда в эти мертвые бараки, кто-то смеет по каким бы то ни было причинам призывать к продолжению этой войны, т. е. к их дальнейшим мучениям и пребыванию в плену.

Лебедев, рыжий ярославский крестьянин, весь съеденный туберкулезом, пустым свистящим голосом кричал Дорохову:

— А рази плохо брататься с немцами? Воевать по-твоему лучше? За кого воевать-то, сволочь? За свободу вашу? Липовая она, свобода эта. Да мать вашу в войну всех вместе..! в одно место... Дайте домой вернуться!

В этой последней фразе было много угроз. Никогда еще за все время плена не была так сильна жажда вернуться в Россию, как теперь. Пленные хотели принять участие в новой жизни, увидеть, как живется сейчас на свободной родине. Они, испытавшие все ужасы фронта, всю горечь и нужду плена, хотели предостеречь своих бунтующих товарищей, чтобы те не поддавались на уговоры «господ» и до конца довели свое дело.

Тогда в лагерях во много раз возросло число побегов. Бежали разутые, полумертвые, не знающие чешского и немецкого языка люди с одной лишь мечтой — пробраться в Россию. Их ловили, наказывали, но они, отсидев, бежали вновь. Их воля и энергия все же побеждали: некоторым из них удалось пробраться в Россию.

Весь лагерь разделился на две враждебные стороны.

Интеллигенция, торговцы, чиновники, бывшие писаря, фармацевты, богатые крестьяне не сочувствовали и боялись большевистского движения. Они с ужасом и с надеждой ждали новых вестей из России. Задорнее и глупее всех вели себя лагерные интеллигенты. Среди них было много болтунов, и в самом деле думавших, что большевики губят «свободную Россию», и их пафосные, напыщенные разговоры о попираемой демократии, о войне до конца звучали невыразимо пошло и неумно здесь, среди тысяч умирающих от голода и болезней людей.

Между тем проходило лето. Июльское выступление большевиков закончилось неудачей. О мире ничего не было слышно, и отчаяние снова стало охватывать пленных.

— Пропадем мы здесь, не видать нам России,— угрюмо говорили они.— Не про нас видно свобода.

Казалось, что все кончено, что война продлится еще долго, и ненавистное Временное правительство будет воевать до гадательной победы.

... Как всегда, с утра выгоняли на работу. Люди шли шатаясь, смотрели невидящими глазами. Мало говорили друг с другом. Лагерь сделался совсем безотрадным, жить в нем стало невыносимо. И вот многие добровольно записались на тирольский фронт — на знаменитую каторгу пленных. Отправиться туда, под самый итальянский фронт, рыть окопы, жить в палатках и землянках, подвергаться артиллерийскому обстрелу было, ко-

нечно, еще хуже, чем жить в лагере. Но шли даже на это, лишь бы добиться хотя какой-нибудь перемены и не оставаться в бараках.

Наступила тихая осень. Шли дожди. Из канцелярии тяжело прибежал Дорохов. Он был без шапки. В руке он держал «Prager Taqbatt»—пражескую газету.

— Кончено! — пронзительно закричал он и бросил газету.— России нет! Они захватили власть!

Он упал лицом вниз на свою койку. Все бывшие в бараке бросились к газете. Смотрели на жирные готические буквы, широкой цепью занимавшие всю страницу. Тут жили одни интеллигенты, и новость казалась им гибельной, ужасной.

Весть разнеслась по лагерю с непостижимой быстротой. Ей не поверили сразу. Масса была плохо информирована. Известия о давно уже начавшемся в России движении против Временного правительства до нее почти не доходили.

Люди бежали по баракам, спрашивая друг у друга, правда ли, что большевики и Ленин захватили власть. Пахомов, не веря Дорохову и сам не умея читать по-немецки, побежал в астрийское караульное помещение, где у него были приятели. Там он застал сильное волнение. Австрийские солдаты толпились вокруг стола, где лежала газета, и громко спорили, перебивая друг друга.

— Скажите, скажите, камрады,— не справляясь со своим голосом, спросил Пахомов.—Правда, что в Русска победили большевики?

Австрийцы окружили его. Они трясли ему руку и сильно хлопали по плечу.

— Большевики — да! — наперебой кричали они. — Войны нет. Большевики — мир, зольдатен — домой...

Пахомов жал протянутые со всех сторон руки. Плач сжал его горло.

Он бежал в бараки, по лицу его катились слезы, но он не замечал их.

Вся эта ночь прошла без сна. Вечером был митинг. Австрийцы, пришедшие тайком, сидели вместе с русскими. Пахомов, сильно волнуясь, говорил о том, что только теперь пришла настоящая народная власть и что мир будет заключен в самом близком времени. И, как пьяный, толкаясь на кафедре, закончил:

— И вернемся мы в Россию, как хозяева, и не будет там ни помещиков, ни фабрикантов, всех их к нашему приезду выметут, как сор из избы.

Потом говорили другие пленные. Говорили бессвязно, тяжело, но понимали их прекрасно. К концу митинга вдруг поднялся австриец и с места громко заговорил:

— Мы, австрийски зольдат, мы рады ва русский революцион. Это есть нам родной революцион. Мы все за мир, за революцион, за большевик.

Следующие дни были для пленных длительным праздником. Газеты писали о первых распоряжениях новой власти, о безвозмездном отчуждении земли в пользу крестьянства, о национализации фабрик и банков и о предложении Советской Россией мира центральным державам.

Лагерь жил горячей, напряженной жизнью. Октябрь глубоко потряс и оживил всю эту солдатскую массу, сделал ее совершенно иной. И пленные с великим нетерпением ждали возвращения на родину. Они стремились туда со всей своей ненавистью и любовью, тая в себе предчувствия великих сдвигов, желая увидеть собственными глазами все, что там произошло, готовя войну войне.

ДОМОЙ

Отправка пленных в Россию затянулась на целые годы, и еще долго после подписания мира сотни тысяч русских солдат томились в своих лагерях. Правда, мы стали пользоваться относительной свободой, но от этого было мало радости. В лагерях попрежнему голодали, и мысль о том, что в России происходят великие перемены, что там создается новая жизнь в то время, когда мы должны здесь пропадать, приводила нас в отчаяние.

Понемногу в Россию отправлялись транспорты пленных. В первую очередь отбирали слабых, раненых, больных и инвалидов, всех тех, от кого австрийцы хотели скорее избавиться. Трудно рассказать, что делалось при отборе в эти транспорты. Счастливцев провожали с завистью, смотрели на них, как на врагов. Каждый думал: почему он, а не я? Ведь права у нас одинаковые.

Лагерь опостылел оставшимся, и они уходили из него и бродили по окрестностям, используя свою жалкую голодную свободу.

В декабре семнадцатого года должен был отойти большой транспорт раненых. Среди них было много таких, которые не могли ходить, и для их сопровождения отбирали русских фельдшеров и медиков. Из нашего госпиталя отобрали троих: Дмитрия Иванова, Зубова и меня. Все мы жили тогда вместе в маленькой комнате, примыкавшей к амбулатории. Иванов был студентом Юрьевского университета — высокий блеклый человек с висячими усами и негромким голосом, который он никогда не повышал. Он был холост и из родных имел одного брата, которого, должно быть, глубоко любил. Брата убили еще в начале войны, и Иванов скрытно носил в себе непроходящую скорбь по нем. И походка, и движения у него были какие-то легкие, паутинные, точно он не делал того, за что брался, а только намечал, как это надо делать. Он много пил и, пьянея, оставался тихим, и только движения у него становились еще более неуверенными, и неприятно мутнели глаза.

Зубов был неясный для нас, но очевидно хитрый и плутоватый человек, родом из Владивостока. Он выдавал себя за медика, но в медицине ничего не понимал, был груб, жаден на еду, хвастлив и любил поврать. В лагере его не любили и подозревали, что он доносит австрийцам на своих. У него были какие-то тайные сношения с Ловиком, русским фельдфебелем, начальником лагеря, и с Кузовым, бывшим жандармом, которого все боялись и избегали.

Ловик устроил торжественные проводы, главным образом из-за Зубова. В нашей комнате, куда редко загля-

дывало госпитальное начальство, в ночь накануне отъезда началась пьянка. Я вернулся очень поздно из лагеря, где прощался со всеми своими друзьями. Я обходил бараки один за другим и в каждом находил кого-нибудь из тех, с кем меня сблизили почти три года совместной жизни. Многих из них уже не было. Одни лежали на кладбище, скошенные голодом и болезнями, другие разъехались на работы по другим лагерям, а те, кто остались, выглядели плохо, и было тяжело прощаться с ними.

Вот Пахомов, питерский рабочий, попавший в плен уже после Февральской революции и своими речами взбудораживший весь лагерь. Лагерная жизнь не сломила его, он с нетерпением ждал своего часа, а пока спокойно работал с пленными, разъясняя им новые устои русской жизни.

Вот Исай Турнер, милый человек, лагерный судья и примиритель. Он сидит за своими книгами в облаках табачного дыма и смотрит на меня. Ему грустно, но он не выдает себя. Вот мои «подшефные», измученные голодом люди, с которыми я занимался в школе и которых под всякими предлогами, при помощи доктора Пташека, клал в госпиталь на отдых. Они так слабы, что невольно я думаю — дотянут ли они те несколько месяцев, что им осталось пробыть здесь? Они совсем оторвались от России и из своих тульских, рязанских и вятских деревень давно не получают вестей.

Вот Майзель, маленький подслеповатый человечек с лебедиными движениями, мастер «модельной обуви», как

он себя называл, считавший, что в России есть только один великий писатель — Шеллер-Михайлов. Вот Кикин, самый жалкий и всеми презираемый человек в лагере. Он страдает болезнью мочевого пузыря, ночью мочится под себя, и тюфяк его и он сам издают удушливый запах, и все его гонят и сторонятся. Он боится подойти и издали смотрит на меня тоскливо и моляще: скудное внимание, что я ему оказывал, очевидно, было ему дорого и необходимо. Ведь так мало нужно иногда загнанному человеку.

И обходя в последний раз проклятые бараки, где я никогда не знал радостей, я, как это ни дико, испытываю нечто вроде сожаления. Значит правда, что привыкаешь и к своей тюрьме?

Но нет... Буйная радость охватывает меня при мысли о том, что я еду в Россию. Я иду в госпиталь, обхожу бараки, где лежат люди, многим из которых не удастся вернуться на родину. Последние искры надежды поддерживают их, и нет среди них таких даже из тех, кто совсем умирали, которые не требовали бы, чтобы их отправили в Россию. Я прохожу ряды их коек, жму слабые, горячие руки и говорю обычные утешительные слова. Но в барак смерти, убежище туберкулезных третьей стадии, я не могу итти. Не хватает силы глядеть на людей, которым не выбраться отсюда.

Я возвращаюсь к себе. Там — пир, обжорство и пьянство. Ловик и Кузов не жалеют денег, да и Зубов притащил несколько бутылок рому. Пить мне совсем не хочется, да и компания неприятная, и я стараюсь не-

заметно ускользнуть. Я долго брожу по тропинке вдоль колючей проволоки. Часовой с другой стороны замечает меня и приближается к забору. Это старый ландштурмист, словак, и мы хорошо знаем друг друга. Он кивает мне головой и спрашивает, еду ли я завтра до Русска? Он скорбно сгибает старческую спину и жалуется мне. Семья его умирает с голоду. Сын в русском плену. А сам он, старик, больной человек, должен стоять здесь, сторожить несчастных русских товарищей. Он так и говорит «камрадов» и сквозь сплетения колючей проволоки протягивает мне руку и желает всего доброго на родине. Усталым движением он закидывает на плечо винтовку и уходит в ночь.

Теперь можно итти и мне. Там как будто разошлись. В комнате омерзительный запах табачного дыма, рома и объедков пищи. Никого нет, кроме Иванова. Он сидит за столом, и, покачиваясь, смотрит на горящую перед ним лампу. Движения у него неверные. Я ложусь. И скоро просыпаюсь от грохота и звона. Иванов свалился на стол, лампа опрокинулась на него, в руках у него дрожит папироса. Очевидно, он хотел закурить и опрокинул на себя лампу. Я схватываю лампу, ставлю ее на стол и усаживаю Иванова. Он совершенно пьян. И когда я тащу его на постель, он смотрит в потолок мутными глазами, и в их мути есть что-то определенное, гнетущее.

Перед самым рассветом я опять просыпаюсь. Кто-то шепчется. У стола при свете огарка сидят Зубов и Кузов, бывший жандарм. Кузов осторожно развора-

чивает длинную бумажку и тихо читает. Я узнаю знакомые фамилии и между ними имя Пахомова. Каждая фамилия сопровождается какими-то примечаниями. Донос на пленных посылается в Россию. Неужели они надеются, что в Россию вернутся жандармы? Кузов свертывает бумажку в трубочку и засовывает ее в толстый мундштук папиросы. Зубов прячет папиросу. Они еще о чем-то уговариваются и расходятся.

Утром за нами пришли. Фельдфебель Ежек привел какого-то ефрейтора с винтовкой. Ефрейтор должен был сопровождать нас в дороге. Ежек казался взволнованным. Он жал наши руки и говорил:

— Так с богем, гоши, всего доброго, счастлива цеста (с богом, ребята, всего доброго, счастливой дороги),— и с грустью смотрел на нас.

В нашу комнату набралось много народу. Нас обнимали, стискивали руки и давали последние поручения. Просили не забывать их и в России постараться о том, чтобы оставшихся пленных скорее отправили на родину. Я ловил завистливые взгляды. Турнер крепко обнял меня. Он скрывал слезы, и голос у него дрожал.

— Ах, как хочется отсюда, до смерти хочется,— тихо сказал он.

Фурсов, фельдшер из хирургического барака, смотрел весело и нагло. Он не собирался на родину. В Миловицах у него была богатая чешка, и говорили, что он останется в Австрии и через несколько дней покидает лагерь для вольной жизни.

Ефрейтор торопил нас. Мы надели шинели и закинули за спину мешки. Я оглядел нашу маленькую комнату. Нечего мне тут жалеть, а чего-то жалко. Какой-то кусочек жизни остался тут. Мне хотелось погладить корявые стены, но было стыдно товарищей и себя.

И вот мы вышли. Огляделись кругом, помахали товарищам и пошли к воротам. Часовой салютует нам и шепчет: «доброй цесты». Мы подымаемся в гору, вступаем в лес и все время оглядываемся на лагерь. Черные спины бараков исчезли внизу.

Прощайте, Миловицы, прощай, колючая проволока...

В Лисе мы сели в поезд. Мы ехали в общем вагоне, вокруг были чехи, и часовой не мешал нам разговаривать с ними. Это было уже преддверие свободы, и как радостно было от него! Я сторонился Зубова, старался не говорить с ним, и он, поняв, что неприятен мне, не приставал с разговорами.

Молодая чешка застенчиво спросила меня, куда мы едем. И, узнав, что нас везут на родину, радостно кивнула мне. Она предложила мне хлеб и соленый огурец, и я не отказался. В плену мы привыкли к тому, что нам дарили пищу. Чешка тихо рассказала мне, что ее жених и брат оба в России в лагере под Томском. И, выходя на станции, пожала мне руку и обласкала взглядом.

Мы быстро доехали до Праги. Шумные прекрасные улицы поразили нас. Мы отвыкли в нашем лагере от шума, от движения толпы, от звона трамваев и от суеты больших городов.

Всюду были женщины. Они вели трамваи и автомобили, торговали в магазинах, работали. Мужчины попадались в значительно меньшем числе. Фронт пожирал их в несчетном количестве, и даже пятидесятилетние старики были мобилизованы для несения тыловой службы. По узкой улице, где было много старых готических зданий, ефрейтор привел нас в комендантское управление и оставил там в тесной, грязной комнате. Такие комнаты имеются в полиции и в казармах, и они все одинаково грязны и унылы во всем мире. Два часа, что мы провели там, казалось, вернули нас обратно в лагерь. Наконец пришел ефрейтор. Он провел нас куда-то в подвал, в столовую, и за обгрызанным непокрытым столом нам дали по чашке жидкого супа без хлеба. Но мы не думали об еде. Хотелось скорее выбраться отсюда.

Ефрейтор опять повел нас по улицам на вокзал. Какой-то человек в штатском внимательно посмотрел на нас и пошел рядом. Он был молод, здоров, и странно было видеть его тут, когда даже калек брали в солдаты. Он заговорил с нами по-русски и попросил у ефрейтора позволения немного проводить нас. Оказалось, что это был русский военнопленный, уже больше года живший в Праге у богатого торговца. Он был токарем, и его хозяин дорожил им и брал на себя ответственность за него. Он расспрашивал нас о нашем житье в лагере и о том всех ли пленных отправляют в Россию. Он признался, что находится в большом сомнении, стоит ли ему возвращаться на родину, так как в Праге ему живется очень хорошо, и дочь хозяина любит его. Он

проводил нас до самого вокзала и на прощание сунул пачку папирос. Уходил он нерешительно и все оглядывался. Мы вспугнули его, как перелетные птицы вспугивают своего сородича, приставшего к чужой стае.

Таких, как он, были тысячи. Они обжились в чужой стране, против которой их заставили воевать, и много их оставалось по чешским, немецким и венгерским городам и деревням, где они жили, как с женами, с вдовами убитых их товарищами австро-венгерцев, прижили с ними детей и обрабатывали их земли.

На этот раз в вагоне, кроме нас, ехало еще около двадцати пленных. Среди них были и фельдшера, и инвалиды. Очевидно, всех нас везли на сборный пункт, где составлялся эшелон. Настроение у большинства было радостное, но некоторые рассказывали невеселые вещи. Ежов, фельдшер из лагеря в Штирии, говорил, что шесть месяцев тому назад его назначили в обмен, и он, прожив три месяца в лагере Терезенштадта, был в конце концов отправлен обратно. Он был совсем еще молод, но в лице его было сухое стариковское выражение, и он, оглядывая нас, говорил о том, что в Терезине очень плохой лагерь, что там слишком много людей, а в канцелярии сидят формалисты и взяточники, которые могут мариновать человека несколько месяцев и потом вместо него отправить в Россию другого.

Все это сильно расстроило нас. Теперь, когда мы вырвались из своего лагеря, перспектива застрять в

Австрии казалась ужасной. Ежову возражали, и Барыков, инвалид, потерявший левую руку, спокойно сказал, что всякому слуху верить нельзя и что Ежов ошибается. Он, Барыков, знал многих пленных, которые в Терезенштадте пробыли всего несколько дней. В пересыльных пунктах австрийцам невозможно долго держать русских, иначе их наберется слишком много. Его слова успокоили нас, но все же в Терезин мы приехали невесело.

Здесь была старинная крепость. Толстые каменные стены, форты и крытые переходы сохранились еще до сих пор. Лагерь был расположен у самой крепости. Он был велик и неприветлив. Нас провели в канцелярию, зарегистрировали и сдали под расписку австрийскому капралу. Ефрейтор простился с нами и сказал, что он охотно поездил бы еще. Так ездить ему нравится больше, чем быть на фронте или нести караул.

Барак, куда нас поместили, был уныл и грязен. На нарах лежали жиденькие тюфяки, а за одеялами нас повели в цейхгауз, огромный сарай, полный всякого тряпья. Одеяла нам достались старые, в дырках, со скверным запахом. Ночь прошла тяжело. Новые товарищи не могли нам сказать ничего утешительного. Многие из них жили здесь уже по три-четыре недели и все же не знали, когда их отправят в Россию.

Я прошелся по бараку. В нем помещалось более двухсот человек. Одни обжились, другие не хотели устраиваться, считая себя здесь временными жильцами и ожидая каждый день, что их отправят в Россию.

Меня остановил пленный с полным нездоровым лицом. Он спросил меня, откуда я приехал, и мы разговорились. Он оказался студентом-медиком Харьковского университета. У себя в лагере он работал в госпитале и теперь ехал в Россию. Он жил в Терезине вторую неделю и считал, что мы уедем очень скоро, так как уже подобрался транспорт больных, которых мы должны будем сопровождать. Возле него было свободное место, и я перетащил туда свои вещи. Было приятно избавиться от Зубова, а Иванов, молчаливый и какой-то разбитый, все равно ни с кем не разговаривал. Любарский, мой новый товарищ, понравился мне своим спокойствием и неторопливостью. У него были ласковые синие глаза и спокойная улыбка. Болезненная полнота мешала ему, ему грозила водянка, но не видно было, чтобы это угнетало его. Мы долго говорили с ним, и он рассказал мне, что его еще до революции назначили к обмену, как медика, но он не хотел возвращаться в царскую Россию. Сейчас же он ехал с радостью и с величайшим любопытством. Ему хотелось видеть, что делается в бывшей стране жандармов и городовых.

— Свободная Россия,— говорил он,— подумайте, как это изумительно звучит.

И он засмеялся, наклоняясь ко мне.

— Я не верю, что это правда, надо мне самому посмотреть, как там теперь живут,— сказал он.

Ночью он тихо спросил меня, не сплю ли я.

— Знаете,— сказал он,— я сам из Кишинева. Недалеко от нашего дома помещался полицейский участок. Там

было самое ужасное, самое проклятое место в городе. Я знал, что оттуда исходило все плохое и гнусное. Оттуда шли на погром, туда уводили наших лучших людей и мучили их. Так вот мне нужно будет с'ездить в Кишинев, посмотреть собственными глазами, что участка и в самом деле нет. Тогда только я поверю, что в России революция.

Утром меня ожидала радость. Прибыли новые пленные и с ними Кобчик, веселый жизнерадостный Кобчик, за которым я ходил, когда он болел тифом. Среди больных были и восемь умалишенных нашего лагеря — оба слабоумные — Совчук и Любимов, Гольдберг со своим благородным, прекрасным лицом и Егоров, пятнадцатилетний мальчик. Всех их, кроме Кобчика, которого оставили в нашем бараке, поместили отдельно. Кобчик ходил по бараку, знакомился с пленными и сразу же отыскал земляков. Он разузнал интересные новости об обмене и о дороге, по которой нас повезут.

— Проедем всю Германию от баварской границы до моря, — радостно улыбаясь, рассказывал Кобчик, — и в порту передадут нас шведам. Через шведов поедем дальше... А там уже свобода, там войны нет, плена нет.

Его веселые глаза увлажнились, и Кобчик любовно посмотрел на меня.

— Не вмещаю всей радости, — тихо сказал он, — много мы все же в лагерях и на фронтах помучились. Позвольте мне вас обнять...

И он обнял меня осторожно, но сильно и поцеловал.

И вот прошел день и другой, и мы все ждали. В лагере, где жили тысячи изнервничавшихся, больных людей, не могло быть хорошо и спокойно, и по нескольку раз в день передавались самые разноречивые слухи о том, что остановились железные дороги, что в главной комиссии по обмену вышли нелады, и обмены прекращены. И так далее, в этом же роде.

Лучше всего было не верить ни одному слуху и спокойно ждать событий. Я, Кобчик и Любарский ходили по всему лагерю, заглядывая в бараки. Лагерь тянулся больше, чем на версту, и в нем было около ста бараков. Кроме пленных, назначенных к обмену, здесь жили и основные обитатели лагеря. Они привыкли к тому, что через их лагерь проходил непрерывный поток пленных, уезжающих на родину, и среди них ходила невеселая шутка, что терезинцы попадут в Россию после всех.

Больные занимали тридцать или сорок бараков. Нетерпение и тоска сжигали их. С утра длинные вереницы их на костылях, с повязанными головами, полуслепых, хромых и безруких тянулись к канцелярии. Они простаивали там часами, останавливали каждого человека, расспрашивали его и верили всем слухам, что ходили по лагерю. Больные и инвалиды говорили, что раньше всего отправят инвалидов и больных, а здоровые утверждали, что инвалидов пока что возить не будут, потому что с ними в дороге много возни. Пленные ненавидели друг друга и считали, что у них нет опаснее врага, чем свой брат пленный, и что каждый интригует и устраивается за спиной товарищей, чтобы скорее попасть в

транспорт. Врачи редко входили в бараки, так как при их посещении подымались такие крики, ругань и истерики, что все равно нельзя было ничего разобрать. И, побыв в лагере три дня, я убедился, что в транспорт попадают случайно, независимо от очереди и состояния здоровья. В конце концов никого из австрийцев не интересовало, кто из русских уедет раньше. У них была своя норма отправки, и они выполняли ее равнодушно, мало думая о том, кто попадет в очередные списки.

С Кобчиком мне было легко. Я верил его спокойствию и уверенности и не волновался. Он занялся делом. С изумительной выдержкой вырезывал из дерева петушков и при этом пел песни. Серые глаза его смотрели ласково, и стоило взглянуть на них, чтобы увериться, что все будет хорошо и совсем не стоит нервничать и беспокоиться.

Вечером мы сидели в бараке. На верхних и нижних нарах со своими коптилками, свечками и фонариками расположились группы пленных. Они пили чай, ужинали, чинили свои вещи, разговаривали, читали или играли в шашки, домино и карты. У больших чугунных печей, стоявших в широких проходах между нарами, теснилась очередь — разогревали еду. Кобчик откупорил банку мясных консервов и ловко потряхивал ее на печке, чтобы она разогревалась равномерно. Любарский и я сидели на нарах. Хлеб лежал на бумаге, соль в тряпочке, и Любарский позванивал жестяными ложечками. Кобчик принес консервы. Мы уселись за еду.

В барак незаметно вошел маленький австриец без пояса, в очках. Он прошел на середину барака к печи, и вдруг там что-то началось. Мимо меня, ничего не видя и толкая всех, пробежал Зубов, волоча за собой вещевой мешок. Мне послышалась моя фамилия. Кучка людей шла к нашим нарам. Австриец неодобрительно посмотрел на нас.

— Левин, Любарский, Зубов, Иванов, Колесников, Ежов,— выкрикивал он и сердито добавил:

— Aber schneller, ich warte (скорее, я жду).

Весь барак переполошился. Бессмысленно бежали люди по всем направлениям. Спрашивали друг друга, не называли ли их имена. Прибежали и из других бараков, откуда-то узнав, что у нас назначают в транспорт. Кто-то с ругательствами лез вперед, уверяя, что назвали его фамилию. Кто-то плакал. Австриец равнодушно ждал нас. Я завязывал мешок, сборы мои были недолги. Любарский неторопливо складывал книги. Покинутые консервы остывали на нарах. Кобчик подошел ко мне.

— Ну, вот,— сказал он, — вот вы и едете... Видно мне одному придется доедать консервы.

Я крепко обнял его.

— А вы, Кобчик...— начал я, стыдясь перед ним своей удачи.

— И я поеду,— спокойно сказал он,— неделя уже не срок, догоню вас.

— Marschieren! — закричал австриец.

Он по списку проверил нас, всех было одиннадцать человек, и повел к выходу.

Мы шли по мокрому снегу, прошли весь лагерь, вышли в поле и шагах в двухстах увидели два или три отдельно стоящих барака. Черная железная труба с колпаком подымалась над одним из бараков. Фонарь горел у ворот, колючая проволока забора блестела стальными коготками. Нас провели в большое помещение. Два длинные стола параллельно тянулись во всю его ширину и стена была занята деревянными, занумерованными ящичками. Вошли австрийцы и велели нам раздеться догола. Они хватали наши вещи, писали на них номера и бросали в ящички. Против каждого номера ставили фамилию владельца вещей. В бараке было холодно, мы дрожали и жались друг к другу. Голый человек чувствует себя беспомощным и как бы униженным, и мы ежились под взглядами австрийцев.

— Купаться, марш,— скомандовал лейтенант, и нас повели в другое помещение, где одна возле другой стояли шесть ванн. У дверей ванной на коленях стоял пленный в сером халате. На стуле перед ним были принадлежности для бритья: жестяная чашка с мыльной пеной, кусок бумаги для омылков и бритва.

— Подходи, не бойся,— кричал он.

Иванов подошел первым, и пленный намылил ему пах и стал брить. Этой противной и болезненной операции подвергались все, кого отправляли в Россию. На телах пленных не должно было оставаться волос. Тупая бритва скребла невыносимо. С трудом можно было удержаться от крика. Мы пробовали смеяться, но смех не выходил. И один за другим мы бежали

к ваннам и погружались в теплую воду. Австриец бросал каждому крошечную пластинку глинистого мыла, совсем не мылившегося и только пачкавшего. Тем, кто помылся, давали чистое белье, халат и опорки. Лейтенант осмотрел нас и велел вести. Нас вывели в первую комнату и оттуда через двор в другой барак, совершенно пустой. Там было холодно. Даже печей не было. И после ванны, в одном белье и халатах, с босыми ногами (опорки совсем не грели) мы сразу замерзли. Пришлось бегать по всему бараку, чтобы согреться. Поднялся крик, потребовали лейтенанта. В это время из другого конца барака нас окликнули. Там в темноте на сваленных кучей тюфяках несколько пленных, очевидно, пришедших до нас, залегли вповалку, укрывшись тюфяками же. Мы быстро забрались к ним. К счастью тюфяков было много, мы легли, тесно прижавшись друг к другу, и сверху еще навалили тюфяки.

Уснуть не могли. Волнения этого вечера и холод мешали нам. Рассвет только успел обозначить контуры узких окон синеватой дымкой, как мы были на ногах. До сих пор не пойму, как мы ушли тогда от смертельной простуды.

Часов в восемь принесли наши вещи, смятые и еще влажные от дезинфекции. Обувь с варварским равнодушием, как и одежду, подвергли губительному действию пара, и она так ссохлась и покоробилась, что не лезла на ноги. В девять часов нас отвели в помещение, где мы находились перед ванной. Лейтенант осматривал книги и бумаги, оказавшиеся в вещевых

мешках и карманах. Книги он оглядывал критически и большей частью отдавал обратно, рукописи же — письма, дневники, записные книжки безжалостно отбирал. Я с отчаяньем боролся за свои тетради — более трехсот исписанных страниц, за которыми я просидел немало ночей. Я доказывал лейтенанту, что тут ничего нет, кроме моих рассказов и дневников, что они очень дороги мне, но австриец только качал головой и сказал мне, что после соответствующей цензуры тетради будут мне возвращены... через комиссию по обмену пленных. Конечно, я никогда больше их не видел.

В барак, где мы провели ночь, набралось более двухсот человек — все раненые, больные и инвалиды. Тут были и безногие, и для них принесли скрипучие протезы на ремнях — подарок шведского Красного Креста. Пришли австрийцы из канцелярии и по спискам стали проверять нас. Один из пленных, татарин Мухамед Галиев, не значился в списках. Лейтенант велел отправить его обратно в лагерь. Татарин не хотел итти. Он упал на холодную землю барака и простирал к лейтенанту руки. Лицо его было искалечено отчаяньем и болью — он не мог вернуться в лагерь после того, как мучился там целые годы и теперь узнал, что едет домой. Четверо людей схватили его за руки и за ноги и понесли, а он завыл так страшно и не по-человечески, что его выпустили, и он, всхлипывая и скуля, побежал и забился под нары.

Нам велели построиться. Ждали генерала, который должен был произвести последний смотр. Генерал

приехал через час. Блестящая свита офицеров и ксендз сопровождали его. Он остановился перед нами и важно начал свою речь. Лицо у него было в красных и белых пятнах и напоминало клюквенный кисель, политый молоком, и говорил он медленно и видимо не думая о смысле своих слов. Переводил плечистый, косолапый крепыш в штатском — галицийский поляк, плохо говоривший по-русски.

— Русские солдаты,— говорил генерал,— целые годы вы провели здесь, в нашем государстве, и его величество император и король и имперское правительство сделали все, чтобы улучшить условия вашей жизни и по-христиански обходиться с вами. Теперь вы возвращаетесь на родину, и *учреждены* все меры, чтобы вы благополучно проделали свой путь. Вы должны всегда помнить, что Австрия была вашим благородным врагом, приютила ваши тела и при помощи святой религии заботились о ваших душах. Ибо, русские солдаты (тут генерал торжественно поднял руку, и переводчик трусливо повторил его жест), я верю, что каждый солдат прежде всего христианин... Желаю вам счастливого пути.

Пленные вразброд закричали «покорнейше благодарим», какой-то фельдфебель по разделениям прокричал «здрав-лай-ваш-диство», и ксендз, помахав крестом, спел несколько гнусавых фраз и дал поцеловать крест генералу. Генерал ушел, и мы пошли обедать. Ели мало. Торопились, беспокоились, ждали. И когда скомандовали забирать вещи и выходить, все, даже инвалиды,

бросились вперед. Галиев, ощерясь и оглядываясь на австрийцев, прятался в середину толпы. Несколько телег и грузовик подъехали к бараку. Туда сажали больных и раненых, остальные должны были итти пешком.

И вот мы тронулись. Мы вышли на дорогу, пошли мимо лагеря. У проволоки толпились наши товарищи, менее счастливые, чем мы. Они махали нам платками, что-то кричали. Я заметил Кобчика, он улыбнулся мне, он не казался грустным, но мне до боли было жаль его. Мы прошли крепость, вышли на узкую дорогу и незаметно дошли до города. Прохожие с любопытством глядели на нас, многие кланялись и тихо желали счастливого пути.

На вокзале уже стоял поезд. Нельзя было дождаться, пока начнется посадка, а австрийцы как назло не торопились. Пришел незнакомый обер-лейтенант, начальник эшелона, как нам сказали, осмотрел нас и махнул рукой. Нас повели по вагонам. Паровоз рванул. Мы двинулись.

Расположились очень удобно. Ровный стук колес был невыразимо приятен. Мы не отходили от окон. Поезд шел медленно, останавливаясь на всех станциях и пропуская вперед воинские и скорые поезда. Зубов устроил игру в двадцать одно, и инвалиды и туберкулезники, самые страстные, как я заметил, игроки, сели с ним играть. Иванов лежал на верхней полке, тихий, вялый, и курил. Любарский сидел у окна. Из соседнего купэ доносилась тихая песня. Пели украинцы — «Як умру, то поховайте», пели складно и красиво, и только непо-

нятно было, почему теперь, покидая плен, они выбрали такую грустную песню.

На германской границе поезд долго стоял. Нас вывели на перрон небольшого вокзала и в баках принесли суп. Как всегда, к вагонам подошли любопытные, почти исключительно женщины, дети и старики. Они выглядели невесело и бедно. Многие из них имели в русских лагерях своих близких и говорили, что может быть и они скоро вернутся, если уже русские пленные едут домой. Молодой австриец подошел к нашему вагону. При ходьбе он неестественно выбрасывал правую ногу, и она сильно скрипела при каждом движении. Он рассказал, что два месяца тому назад вернулся из России, обмененный, как инвалид (он хлопнул по своей искусственной ноге). Пленные набросились на него с расспросами, и он, горько улыбнувшись, ответил, что солдату везде плохо.

— Мамы валку посудь[1],— сердито сказал он, указывая на горло, и, осторожно оглядевшись, шопотом сказал, что большевики молодцы, они сделали «велику вець» (великое дело), и когда австрийские солдаты вернутся с фронта, они должны будут сделать то же, что их русские товарищи.

Перед самой отправкой по вагонам торопливо пробежал капрал и за ним два солдата с винтовками. Капрал проверял каждого из нас по списку, пока не дошел до Галиева. Он сделал знак, и солдаты схватили

[1] Война нам до сих пор.

татарина. Галиев помертвел и не сопротивлялся. Его вывели. Он стоял на перроне, когда поезд шел мимо него. Голова его была опущена, колени устало согнуты. Австриец с винтовкой стоял возле него. И вдруг неторопливым движением Галиев отделился от солдата и боком свалился под вагоны. Поезд остановили, составили протокол и на носилках унесли тело.

Галиев не вернулся в лагерь.

Ночью мы ехали по Германии. Германия готовилась тогда к решительному наступлению на западном фронте, и вся страна казалась одной гигантской, непомерно разросшейся фабрикой со многими тысячами корпусов. По обе стороны дороги из темноты проступали многоярусные шеренги заводских окон, залитых багровым отсветом, и сквозь стук вагонов мы различали глухое напряженное гудение машин и видели буйные табуны искр, рвущихся к небу из массивных, высоких труб.

Утром поезд остановился в поле, не доезжая станции. Справа, на расстоянии не больше километра, виднелись черные бараки и серая фигура часового, медленно ходившего вдоль забора. Знакомая, постылая картина! И вот мы увидели между бараками фигуры в рыжих русских шинелях. Прошел час, два, мы не трогались с места. И вдруг кто-то сказал, что нас, возможно, оставят в этом лагере. Не было никаких оснований поверить этим словам, но мы испугались. Слишком велики

были наши неуверенность и страх, и в конце концов мы могли ждать всего, что угодно. До тех пор, пока мы находились на германской территории, нас могли еще вернуть в лагерь, мы все еще были в плену.

Наконец, часа через три после нашей остановки из лагеря вышла кучка людей и направилась к поезду. Скоро стало ясно: несколько германцев с повязками Красного Креста ведут группу русских пленных, а двоих несут на носилках. Пленных посадили в наш поезд,— это были раненые, предназначенные к обмену, наш лейтенант выдал германцу расписку, паровоз повыл, и мы тронулись.

Мы ехали на север, к морю, к свободе, к России.

В Германии отсутствие мужчин было так же заметно, как и в Австрии. Всюду были женщины. Мы видели их на железнодорожных станциях, — они сцепляли вагоны, работали в качестве кондукторов, телеграфисток, носильщиц и стрелочниц. Женщины были в форменной одежде, делали все с профессиональной ловкостью и видимо привыкли к своей мужской работе.

Чисто и аккуратно было на линиях, вечерами спокойно горели сигнальные огни, тишина окутывала станцию, и к нашим вагонам никто не подходил. Германская дисциплина была жестче австрийской, да, может быть, никого и не интересовал эшелон русских пленных. К пленным привыкли, их применяли по всей стране, как

дешевую рабочую силу, такую же, примерно, какой считались негры в Америке до освобождения их от рабства.

Иногда мы встречали воинские поезда, идущие с востока на запад. Перебрасывались лучшие дивизии для весеннего наступления на Францию, и солдаты знали, куда и зачем их везли. Они не пели песен, никакого воодушевления мы не видели в них, они были тихи, угрюмы, и нехорошее зловещее выражение высекалось на их лицах. Их провозили через всю страну, многие из них проезжали близко от своих родных мест, но отпусков им не давали. Я вспомнил воинские эшелоны, которые видел в начале войны. Тогда люди еще верили ядовитым обманам патриотических газет. Теперь были другие времена, более близкие к великим сдвигам и бурям, которые смели Гогенцоллернов и Габсбургов.

На остановках германские солдаты подходили к нашим вагонам. Трое из них вошли в вагон. Один из них говорил по-русски. Это был высокий худой человек. Сжатые сухие губы и железная каска делали его лицо суровым. Он и его товарищи уселись среди нас.

— Да, да, один фронт кончился, и нас везут на другой,— сказал высокий германец — На русском фронте ваши солдаты не хотят больше драться. Мы скоро не захотим драться на французском фронте. С нас довольно войны.

Его товарищ, узкоплечий, с лихорадочными глазами больного, солдат кивнул головой.

— Хорошо, что вы едете домой,— сказал он,— вы

найдете там много нового и прекрасного. Нам тяжелее, чем вам.

И, бесстрашно поглядев на австрийца, сопровождавшего поезд и стоявшего у окна, он добавил:

— Кайзер сидит у нас на затылке, как гора. Надо, чтобы он нашел для себя другое место, не правда ли, товарищ?

Австриец, не поворачиваясь, кивнул головой.

У него была худая спина и согнутые в коленях ноги, и вряд ли он был доволен кайзером и войной.

Пленные расспрашивали германцев о фронте. Правда ли, что они братались с русскими? Видели ли они в русских окопах красные флаги? Много ли русских солдат покинули окопы? И почему германские солдаты продолжают войну?

Германцы отвечали все вместе. Они сейчас еще ничего не могут сделать. Офицеры особенно зорко следят за ними. Дисциплина еще крепка. Но все же они братаются с русскими. Надо еще немного подождать. Война сама гонит события.

В это время вошел австрийский лейтенант. Он покраснел, шея его надулась.

— Вон, свиньи,— закричал он,— кто вам позволил войти сюда?

Германцы ушли быстро, но спокойно, ничего не ответив и откозыряв лейтенанту.

Во взгляде, который нам бросил высокий германец, можно было прочесть:

— Ладно, мы подождем еще немного.

Германский эшелон ушел раньше нашего. Товарные вагоны с открытыми дверями уходили на запад. Люди в касках и смятых бескозырках столпились у входов и смотрели на нас. Многие делали нам приветственные жесты. Другие стояли, сгорбившись. Они не пели, не разговаривали между собой. Дух их был надломлен, они устали от войны и хотели отдыха. И теперь, вспоминая их, я думаю о том, сколько будущих спартаковцев и красных фронтовиков созревало в их рядах. Их гнали на последний бой за кайзера, Круппа и Стиннеса, не зная того, что этот бой станет первым боем за германскую революцию.

Война ускоряет события.

Чем ближе мы подъезжали к морю, тем резче становился холод. Вечером мы улеглись спать. Было еще темно, когда я проснулся. Странное ощущение овладело мною,— мне показалось, что наш поезд покачивается, точно земля под ним колышется. Я выглянул в окно и не поверил тому, что увидел: поезд плыл по морю. Густые темные волны вздымались под окнами вагонов. Я разбудил товарищей. Все бросились к окнам. Любарский первый догадался, в чем дело.

— Нас перевозят на пароме на остров,— сказал он,— и это оказалось правдой.

Не помню названия этого острова. Когда плот пристал к берегу, к продолжению железной дороги, оборванной на материке, мы продолжали наше путешествие

до северного берега острова, до маленького порта, где нас ждал шведский пароход.

Поезд дошел до самого моря — дальше ему итти было некуда, здесь кончалась Германия, кончался плен. Нас вывели из вагонов и повели в широкий каменный двор, выходящий к пристани. Австрийские и германские офицеры в последний раз обходили наши ряды, сверяли списки. У берега стоял небольшой, очень чистый белый пароход, на корме его развевался шведский флаг, а на мачте другой — с красным крестом. С парохода сошли две сестры — ослепительно белые в своих шубках и шапках из белого зайца. Они взяли списки у офицера и, обойдя нас всех, каждому прикалывали на грудь овальную картонку с красным крестиком и надписью Svenska Röda Korset [1], и при этом они так ласково улыбались нам, что мы сразу почувствовали себя по другому. Ведь за все время плена за нами ни разу не ходили женщины, и трудно рассказать, какими счастливыми сделало всех их присутствие и их заботы. Все это означало конец плена, конец проклятым лагерям с их бараками, мертвецами, голодом, болезнями и колючей проволокой. Счастье заливало нас, делало пьяными и безумными. Мы не могли дождаться, пока нас поведут на пароход. Наконец повели. Один за другим мы вступали на чистую палубу, отряхивали со своих ног прах земли, которая была нашей тюрьмой. Лейтенант пожелал нам счастливого

---

[1] Шведский Красный Крест.

шествия. Я попробовал опять заговорить с ним о своих рукописях. Он пожал плечами и обещал переслать их в Россию.

Нас отвели вниз в обширную столовую и покормили так, как никогда не кормили в Австрии: дали суп, жареное мясо с картофелем и молоко. Шведы были вежливы и приветливо улыбались нам. Нас обслуживали главным образом женщины, и вокруг не было вооруженных часовых.

Нам не сиделось внизу. Хотелось, чтобы пароход скорее ушел. И вот капитан поднялся на мостик, что-то скомандовал, и матросы стали выбирать якорь. Сирена заревела весело и мощно, и корабль медленно отошел от пристани. Волна, как собака, облизала его зеленым пенистым языком, берег тихо уходил от нас, и таяли на нем фигуры германских часовых с остриями штыков над головами. Мы плыли, нас сильно покачивало, морской ветер прохлестывал все тело острыми колючими кнутами, но я не мог уйти вниз. Пожалуй, никогда в жизни мне не было так хорошо, как тогда. Я не чувствовал холода, не чувствовал себя. Я несся по воздуху, голова кружилась, как кружится она во время сна, когда снится полет.

Я хорошо знал всю горечь жизни, знал, как ужасно и несправедливо устроен мировой порядок, сколько жестокостей, подлостей, массовых убийств и преступлений случается ежедневно, знал, сколько гнили плодится на земле, но в эти минуты, на пароходе, уносившем меня из Германии, из плена, я забыл все это,— я пил свое сча-

стье, свою свободу всеми порами, всеми частичками своего существа. Море шло на меня зеленой степью, вскопанной прибоем, и волны вздымались на нем уступами, как развороченные глыбы земли. Синий туман плыл в моих глазах, и я качался вместе с пароходом, вместе с морем, и мое сердце вздувалось от единственной, никогда еще не испытанной радости.

Кто-то стал рядом со мною. Это был раненый, присоединенный к нам в Германии. Он наклонился над перилами. Мы поглядели друг на друга. И сквозь шум моря он прокричал мне на ухо, что едет домой, в Россию, в село Шишкино, Яранского уезда, Вятской губернии, и, обняв, поцеловал меня.

Пароход сильно качало. У многих пленных началась морская болезнь, и они забирались на свои койки. Внизу в большой госпитальной каюте отдельно от других помещались двадцать девять душевно-больных. Кроме двоих или троих, они не сознавали, что едут домой. Совчук и Любимов лежали рядом и чесались друг о друга. Гольдберг сидел, задумавшись. Огромный Пучков разговаривал с худеньким больным в германской шапке. Вишневецкий лежал в углу, настороженно глядя, чтобы никто не разбудил его. Остальные сбились, как куры в клетке, и смотрели тусклыми, равнодушными глазами. И сзади всех рыжий человечек, с острыми зелеными глазками, заботливо стучал деревяшкой. Он делал гробы, делал их с утра до вечера и все не успевал, так как он на фронте видел слишком много трупов и боялся, что ему не удастся всех их похоронить.

Наше путешествие длилось всего лишь день. Мы прибыли в Треллеборг, шведский порт. Экстренный поезд Красного Креста уже ожидал нас в порту, и нас посадили в вагоны прямо с парохода. В порту было много судов, Швеция наживалась на войне, торгуя со всеми воюющими странами. Нас, привыкших к отсутствию мужчин на улицах германских и австрийских городов, поражало их обилие в Швеции. Молох войны не требовал их, не калечил и не убивал, и они, здоровые, белокурые, голубоглазые, занимались своими делами, ходили в театр и жили в своих домах с женами, матерями и детьми. Шведки двигались по улицам спокойно и неторопливо, с благожелательным выражением на лицах. Им не надо было беспокоиться и мучиться о своих близких на фронтах, не надо было читать в газетах списки убитых и искалеченных людей.

Мир! Мир! Иметь право не убивать людей, идущих на нас по такому же принуждению, как и мы против них, не гибнуть от шрапнелей и пуль, не слепнуть и не задыхаться от ядовитых газов, не жить в противоестественных условиях в окопах, в грязи, в собственных нечистотах.

Мы ненавидели войну органически и глубоко и оттого так пламенно и с такою великою радостью встретили мы большевистскую революцию, что видели в ней освобождение от проклятого строя, рождающего войны. Мы шли с теми, кто протестовал против войны, кто хотел по-своему перестроить мир. Мы имели основание быть недовольными старым порядком, и нас не испугала

бы и новая война, объявленная империалистической войне.

Экстренный поезд поразил нас своей роскошью. Он был весь изнутри облицован дубом, матовые электрические шары были врезаны в потолок, и ряды коек на пружинных матрацах, застланных хрустящими от крахмала простынями, ожидали нас. Шведские сестры были ласковы и приветливы. Впрочем им мало приходилось возиться с нами, так как русские фельдшера и медики, сопровождавшие транспорт, сами ухаживали за своими.

Первая остановка была в Мальмэ, вторая в Гессельхольме. Мы выходили на перрон, и так же, как и Трелеборге, шведы удивляли нас своим спокойствием и неторопливостью. Нам, издерганным войной и пленом, было очень приятно это спокойствие.

В Гальсберге в вагон вошел шведский офицер с повязкой Красного Креста на рукаве.

— Завтрак, завтрак,— говорил он.

Всех, кто мог ходить, повели на вокзал, за столы, убранные цветами и прекрасно сервированные. Кельнеры в белых передниках разносили жареное мясо на никкелированных блюдах. Мяса было много, но хлеба давали по два тоненьких ломтика. Швеция нуждалась в хлебе, который до войны получала главным образом из России, а теперь он скупо доставлялся на американских пароходах.

Когда мы уходили после завтрака в свои вагоны, к

нам украдкой подошли двое людей в замасленных блузах. Это были шведские железнодорожники, рабочие из мастерских, расположенных за станцией. Один из них немного говорил по-русски. Он, смеясь, рассказал, что из России стаями улетают меховые птицы, то есть богатые люди в мехах, которым революция пришлась не ко двору. Несколько поездов с ними прошли через Гальсберг, и нам, вероятно, в пути еще придется встретить их.

У них в Гальсберге жил политический эмигрант, большевик, сейчас же после революции уехавший в Россию. Он много общался со шведскими рабочими и недавно прислал им письмо. В письме говорилось о том, что делалось сейчас в России, и было приглашение приехать в Петроград.

— Вы будете видеть много нового у себя в родине,— сказал нам швед.— У вас будет большое сочувствие от всех рабочих и солдат из Европы, из Америки, из мира. Очень большие дела. Очень мировые дела в России.

Он помахал нам рукой, и его спутник прокричал на прощание:

— Товарись, товарись!

Мы ехали через всю Швецию, пересекая ее с юго-запада на северо-восток. Мы выходили только на перроны, дальше нас не пускали, и города и деревни мы видели только издали, только из вагонов. Мы обедали в Крильбу и ужинали в Боллнесе. Многие станции

проезжали не останавливаясь. Шведы торопились скорее сдать нас по назначению. Вежливо, но настойчиво они стерегли нас.

В Вэннэс прибыли в семь часов вечера. На станции стоял встречный поезд. Кто-то узнал, что он пришел из Петрограда. Несколько человек пошли туда в нестерпимом желании увидеть людей из новой России. Русские прогуливались по перрону. Меня удивило обилие военных среди них. Навстречу мне шел генерал, маленький, кособлечий, со щеками, отвисшими, как пустые мешочки. Машинально я откозырял ему. Он посмотрел на меня со злобой и пробормотал длинное ругательство.

— Издевается, сволочь,— послышалось мне, и генерал почти бегом прошел мимо.

Публика в поезде была на подбор. Женщины в мехах, мужчины в шубах с бобровыми и котиковыми воротниками. Я отметил их неспокойный вид. Их движения были торопливы и неуверенны, все эти люди казались издерганными, растерянными. Они суетливо оглядывались кругом, хватались друг за друга или вдруг спешили куда-то, начинали бежать.

В самом конце перрона я встретил Забелина, сына богатого домовладельца, с которым я вместе учился в гимназии. Он с трудом узнал меня.

— В Россию? Ты едешь в Россию?— с каким-то омерзением спросил он.— Ведь оттуда бегут все порядочные люди.

На его красивом интеллигентном лице был ужас, недоумение и отвращение. Он, действительно, не по-

нимал, как можно ехать в Россию, где были разрушены святые устои, созданные веками налаженной, милой жизни. Его квартиру, его дом, его лавки отняли у него, и он решил, что стало быть все погибло, что воцарилось хамство и произвол, что все культурные ценности разрушены, и надо скорее бежать из проклятой страны. И он бежал, как бежали тысячи ему подобных людей-кротов.

Разговор не вышел у нас. Мы простились враждебно и разошлись каждый к своему поезду. Он ехал в Стокгольм, мы — в Петроград.

Наконец, после двухдневного путешествия мы достигли Хапаранды, северного пограничного пункта Швеции. Только река Торнео отделяла нас от Финлянлии, бывшей тогда еще советской. Нас группами выводили из вагонов, сажали в низкие лопарские сани, запряженные оленями, и перевозили через реку в Торнео, финский городок. В Торнео мы в последний раз попали в бараки. Они были лучше австрийских, в них были большие окна, и каждому человеку полагалась койка. Никто не стерег нас, но по старой привычке мы боялись далеко отходить от бараков. Нас привлекала железнодорожная станция, расположенная в версте от лагеря, и некоторые из нас пошли туда. Мы шли так нерешительно, что встретивший нас солдат, здешний каптенармус, засмеялся и весело закричал:

— Да не бойтесь, не бойтесь, товарищи, часовых здесь нет. Идите, куда хотите.

И он щедро обвел рукой кругом, отмеривая все

видимые пространства. Мы поговорили с ним, и он рассказал, что все пленные, прибывающие сюда в первые дни, страдали боязнью уходить далеко: им все казалось, что их сурово окликнут и вернут обратно.

К свободе человек привыкает быстро, но все же не сразу.

Мы медленно двигались через Финляндию. В Выборге стояли полдня. Офицеры еще носили погоны, и, встретив их, пленные по старой привычке козыряли им. Офицеры смотрели на них растерянно, даже со страхом и торопливо прикладывали руки к фуражкам. Скоро мы перестали козырять. Никто не делал этого. И погоны доживали последние дни.

В Петроград прибыли к вечеру. Поезд не сразу подошел к Финляндскому вокзалу. Он долго стоял на путях в предместьи. Вечерняя заря розовела над городом. Церковные купола блестели, как начищенные самовары. Адмиралтейская игла уперлась в малиновую тучку. Старушка прошла по путям и любопытно посмотрела на нас.

— Эй, бабушка, как живешь?— крикнули ей из вагона.

— Да вот Ленин у нас,— ответила старушка,— с Лениным живем. Царя у нас теперь нет. А вы откуда? С плену?

И, пожевав губами, она пошла и на ходу сказала:

— Хлеба вот еще нет, а чай дают морковный.

Мимо нас, грохоча по стрелкам, медленно прошел поезд. Он был наполнен вооруженными солдатами, из открытых дверей теплушек выглядывали бульдожьи рыла пулеметов.

И пока поезд проходил мимо нашего эшелона, мы успели узнать, что это красногвардейцы едут бить Корнилова. Они выглядели бодро, и много злобы чувствовалось в них. Все они шли добровольно, движимые ненавистью к людям, которые пытались повернуть их обратно, к старому. Нам была хорошо знакома их ненависть. Впервые мы увидели настоящих солдат революции, тех, чьей волей была окончена война и которые тут же начали другую, чтобы защищать свое право на мир и на свободную жизнь.

Вечером мы были в городе. Нас разместили в громадном здании, выходящем на Галерную улицу и на Конногвардейский бульвар,— в бывшем институте благородных девиц.

В институтской церкви под крылышками голубых ангелов, порхающих по потолку, солдат в потертой шинели без пояса, с усталыми глазами и рыжей бородкой приветствовал пленных от имени Петроградского Совета.

Он говорил просто, и некоторые фразы из его речи до сих пор запомнились мне:

— Товарищи,— сказал он,— мы не верим людям, которые управляют миром. Они скверно и подло обманывают нас, и мы решили сами взять это дело в свои руки. Вы побывали на войне и в плену и знаете, что вам не за

что было драться с австрийскими и германскими рабочими и крестьянами. Советская власть во всем мире — это прежде всего,— вечный мир между народами, полное уничтожение войны.

Это было понятно нам... Миллионы людей, только-только освобожденные из мертвых тисков войны и плена, имели возможность смотреть в корень событий и правильно понимать их.

...Мы тоже не верили людям, которые управляли миром.

И было правильно и законно, что тысячи солдат, еще не успевших отдохнуть от царских окопов, опять шли в бой, объявляя войну войне.

...Да, да, какой угодно ценой, какими нужно жертвами, но навсегда надо освободить мир от гибельного проклятого строя ведущего к войнам, угнетению и нищете.

Цена 2 руб.
Переплет 20 к.
Тир

464

СКЛАД ИЗДАНИЯ
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР
Москва. Центр, Богоявленский переулок, 4.
Телеф. 2-65-81 и 5-50-80. Ленинград. Ленотгиз.
Проспект 25-го Октября, 28. Телефон 5-34-18.